

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

6/2022



В номере:

Открытый остров

«Что есть счастье? Так просто и не скажешь. Тут не обойтись констатацией, как со здоровьем: если не болеешь, то оно есть. Тут может быть и здоровье, и достаток, и успех, а счастья нет. Сложнее, наверное, только вопрос о смысле жизни. Данный вопрос чрезвычайно важен для островитян, и они интересуются им не столько из философских соображений, сколько в практических целях, для прикладного использования, борются за счастье со всем напряжением душевных сил или непреклонно отстаивают имеющееся, что, собственно, и составляет наш с вами, драгоценный мой Читатель, интерес в этом деле: за что борются и как?» Островитяне — жители белорусской деревни, куда занесло в 80-е годы прошлого века новоиспеченного учителя английского языка течение жизни. Герой романа Игоря МОИСЕЕВА «Остров Глазовка, или Главные по аистам» — ошеломленный горожанин, подобно Робинзону Крузо, постигает уклад местного бытия и азы выживания на острове.

«Лодочка жизни плывёт»

«Врастая в читательский стаж», поэт Илья ФАЛИКОВ предупреждает: «книгопад — бессмертью прямая угроза». Но и жизнь без любимых книг не жизнь. Главное в доме — «Здесь книги живут. А при них/ присутствует пара смотрящих,/ стоглазых читателей книг». Геннадий КАЦОВ, предвосхищая вопрос: «скажи-ка, дядя, ведь не “даром” набоковским одним ты жил?» — называет своих гениальных учителей: «меня учили понемногу/ гомер, флобер и карамзин». Вадим МЕСЯЦ, вспоминая мифические подробности смерти Гоголя, констатирует: «все писатели земли русской похоронены живыми», и ему нужно, чтобы его запомнили живым: «Запомни меня,/ потому что я сам ничего не запомню:/ ни себя, ни дурацких поступков,/ означающих молодость./ И когда моя биография выйдет/в серии «Жизнь замечательных людей»,/ не читай на эту книгу./Помни только то,/за что можно любить.// Запомни меня героем». Вот и Ольге ИВАНОВОЙ, «разминувшись с этими и теми,/ дабы не облягла молва,/ обходя насущнейшие темы,/ сглатывая главные слова,// покидая просеки широки,/ бортанув кудрявый звукоряд», важно зафиксировать, хотя бы внутренним зрением, как «из увядающей этой юдоли,/в умном безмолвии вод,/ меж берегами блаженства и боли —/ лодочка жизни плывёт...»

«Информация — вещь материальная»

«Современное искусство сплошь и рядом занято так называемой борьбой Добра и Зла, никак не меньше. Люди, тролли, орки, эльфы, даже деревья, даже звери — все или за правду, или против неё...» Прозаик Геннадий ПРАШКЕВИЧ и физик Алексей БУРОВ в своей традиционной переписке на страницах «ДН» размышляют «о токсичной информации, о Большом взрыве, о последующих началах», о Библии и Платоне, о «сакральных основаниях» Запада, о массовом человеке и дальнейшей судьбе нашей цивилизации.

Особенности национальной любви

«Никакая уважающая себя китаянка никогда не посмотрит на парня без стабильного заработка или разведенного мужчину. Ну, стабильный заработок еще понятно, но с разведенными мужчинами что не так? Считается, раз супруги развелись — значит, мужчина не смог сдержать данное жене слово, у него нет чувства ответственности, и кто сказал, что он опять так не поступит? Дети, кстати, при разводе в большинстве случаев остаются в семье мужа.» Прожившая много лет в Китае, китаистка по образованию, Анна ВОРОПАЕВА уже рассказывала на наших страницах о жизни китайской деревни и о студенческой жизни в Китае. В этом номере — «про любовь в Поднебесной».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2022.
Подписано в печать 30.05.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2026/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. На грани подлинной свободы. <i>Стихи</i>	3
Игорь МОИСЕЕВ. Остров Глазовка, или Главные по аистам. <i>Повесть</i>	8
Вадим МЕСЯЦ. На луне нет снега. <i>Стихи</i>	71
Светлана ВОЛКОВА. Артизан. <i>Рассказ</i>	75
О.КАМОВ. Разные люди. <i>Рассказы</i>	94
Ольга ИВАНОВА. Из «Книги Жизни». <i>Стихи</i>	111
Борис ЛЕЙБОВ. Мехом внутрь. <i>Рассказ</i>	115
Наби ЭРКИН. Рассказы	121
Джасур ИСХАКОВ. Два рассказа	142
Геннадий КАЦОВ. Есть жизнь и за пределами фейсбука. <i>Стихи</i>	157
Дмитрий РАЙЦ. моменты усталости и любви. <i>короткие истории</i>	160
Наталья СУЛТАНОВА. Электричество с зубами. <i>Рассказ</i>	172
Алексей КУРГАНОВ. Вежливый Саша. <i>Рассказ</i>	190
Времени приметы. <i>Поэтические переводы участников Программы для молодых писателей «От сердца к сердцу, от разума к разуму», организованной Союзом писателей Москвы в Абрамцево (2021):</i>	
Рузаль МУХАМЕТШИН. Кто же я? <i>С татарского. Перевод В.Нацентов</i>	195
Людмила РЯБОВА. Без слов. <i>С эрзянского. Перевод Т.Мокшановой</i>	196
Цындыма БАБУЕВА. Тебе, Бурятская земля! <i>С бурятского. Перевод Л.Колесник</i> ...	197

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Николай ЖЕЛЕЗНЯК. Русская мама. <i>Рассказ</i>	198
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Анна ВОРОПАЕВА. Про любовь в Поднебесной	206
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О токсичной информации, о Большом взрыве, о последующих началах. <i>Два письма на одну тему</i>	218
--	-----

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Как будто в кино. <i>О романе Дмитрия Данилова «Саша, привет!» размышляют Николай АЛЕКСАНДРОВ, Мария БУШУЕВА и Валерия ПУСТОВАЯ</i>	226
---	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Иные маршруты звездолёта Земля. <i>6,3 книги по философии, теории будущего и не только</i>	238
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Что делать?	265
--------------------------------------	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Ходить в театр	268
------------------------------------	-----

НАША ВКЛЕЙКА

Художники Владимир САВИЧ (Беларусь) и Марат САДЫКОВ (Узбекистан)

Илья Фаликов

На грани подлинной свободы

* * *

Чего-то я замучился потерям
вести неясный счёт.
Сдувается то дерево, то терем,
то дева у ворот.
Да не лишит меня своих объятий,
обязанностей, прав
на новоисторическом Арбате
снесённый телеграф.

Посланий, поздравительных открыток,
эпистол, телеграмм,
неделовых записок преизбыток,
утраченный спецхран.
А там и шаг до той библиотеки,
до гоголевки той,
где время лечит бронзовые веки
куриной слепотой.

Броди в неоцифрованном пространстве
по выбранным местам
из честной флоры, в огненном убранстве
шумящей тут и там.
За прошлый век, за преданность бумаге
тебя найдёт само
под камнем в огороженном овраге
сожжённое письмо.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. Автор десяти книг лирики, четырёх романов, двух сборников эссеистики и книг о Марине Цветаевой, Борисе Слуцком, Евгении Евтушенко и Борисе Рыжем в серии «Жизнь замечательных людей» (их журнальные варианты были опубликованы в «ДН»). Лауреат нескольких литературных премий, в т.ч. премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

* * *

Как с войны вернулся — никого.
Те, с кем пили-пели, — в поле пали,
в плен попали, без вести пропали
в железобетоне, — каково?
В сквере на Леонтьевском сидишь.
Под порывом ветра — громче-тише —
мчатся листья, золотые мыши.
Серая забила в угол мышь.

В школе на Леонтьевском — давно —
с другом вы когда-то выступали
до того, как без вести пропали,
долакав алжирское вино.
Он родился в доме супротив
дома, где Долорес Ибаррури
доживала годы после бури,
пламенные речи сократив.

Все они ушли — и друг ушёл,
и пассионарная старуха,
или плохо слышится вполуха
в колокол упрятанный глагол.

Не лечу на Киевский вокзал,
мне и здесь хватает хлебосольства,
и неподалёку
от посольства
Украины
тополь воссиял.
Чуть ли не один на всю Москву
в глубине двора многострадальный
тополь золотой пирамидальный
блещет ни о ком и никому.

* * *

Всю ночь одна и та же лошадь
месила в переулке слякоть,
не в силах выскочить на площадь,
где начал дождь под утро плакать.
Куда ты ехал, смутный всадник,
которого не полюбили,
и кем ты был, ночной лошади
на неподкованной кобыле?
Была судьба к тебе сурова,
и, для тебя недостижима,
лежала площадь, как подкова
с копыта старого режима.

Гони коней по всей вселенной,
по колокольной, прямоствольной
возлюбленной первопрестольной,
в расщелине кривоколенной.

* * *

Снова или не снова в пене седых широт
ходит «Любовь Орлова», праздничный теплоход.
Молния смотрит зверем, реет алчба окрест.
Списан или потерян — скажет морской реестр.
Тянется дней резина, хочется волком выть,
и негритёнка Джима в Штатах давай ловить.
Качка или не качка, слава её труду —
сталинская циркачка в тридцать шестом году.
Ливень, в лохани моясь, хлынет как из ведра.
Снова споёт Михоэлс мимо её бедра.
Встанет высотный терем вместо гнилых трущоб,
списан или потерян этот летучий гроб.
Снова его загонят замертво за бугор,
ибо поэт не понят и перед бурей гол.
Снова его на гвозди сплавят, но он нейдёт
ни на парад, ни в гости, где инвентарь не тот.
Выйдет живая сила из молодых сердец,
дрогнет душа буксира, лопнет стальной конец.
Ни иудей, ни эллин тленья не убежит.
Списан или потерян. Лыком железным шит.
Снова или не снова в пене седых широт
ходит «Любовь Орлова», мать мировых сирот.

* * *

Я ни разу тогда не подумал,
уезжая с вокзала на Брест,
что вокзал улетучился, дунул
до горы от вокзальных невест.
Что в глухой исторической яме,
где стояли сухие дожди,
то ли кривичи, то ли древляне
ожидают грозу впереди.

Не видать ни германца, ни турка,
в новый храм устремилась толпа —
в недострое летит штукатурка
на виссонную ризу попа.
Вереницы берёз поредели
до того, как свинцом посекло
обожжённый кирпич цитадели,
защищающейся тяжело.

Что за притча? Поющие печи.
Что за песня? Стара и проста.
Это в огненной роще трепещет
и трещит на ветру береста.
Полк времён положило от сглазу
в том раскопе, в разбитом строю.
Я тогда не подумал ни разу,
что на Брестском вокзале стою.

* * *

Сколько пропито, прокурено — забыто,
было весело, а стало веселей,
а в прихожей столько разного забыто
набегающими волнами гостей.
Не забыто, а подарено — предметы
типа зонтика от солнца и дождя
нам оставили пролётные поэты
и, по-видимому, плачут, уходя.

Были кольца, а на кольцах аметисты,
а бывало — бирюза или берилл.
Слишком точно не рифмуют акмеисты,
и никто нам аметистов не дарил.
Тем не менее вполне благоговейно
видим в сумраке, оставшемся густым,
розу Рыжего и пепельницу Рейна,
а в прихожей густо вьётся только дым.

* * *

Здесь книги живут. А при них
присутствует пара смотрящих,
стоглазых читателей книг,
смотрящих не только лишь в ящик.
Теснятся, куда ни шагни,
тома, как дома на проспекте.
Здесь книги живут, лишь они,
а нам с тобой, в общем-то, негде.
Шумит и камыш, и ковыль,
и лес человеческий — где-то.
И стали мы книжная пыль,
и стали мы прошлое лето.

Врастая в читательский стаж,
нагрета затылком подушка,
не рухнул покуда стеллаж,
восточно-немецкая стружка.
Европа гуляет в огне,
пожарище жёлтых жилетов,
до нас достигают оне,
известный закат фиолетов.
Токсичный закат языкат,
зане стопудовая проза
заточена на книгопад —
бессмертью прямая угроза.

* * *

Не думала о пайке, о копейке,
о ноте и мазке,
когда в своей мутоновой шубейке
металась по Москве.
И ты, и я, и жители Китая
плодимся и снуём,
запоем Боратынского страдая
в клоповнике своём.

Москва стоит на старых аксиомах,
творящих компромат
на уличных знакомых — насекомых
меж каменных громад.
И ты по зебре, бедная свобода,
перебежав одна,
оставила меня у перехода
без хлеба и вина.

* * *

Преспал на уличной скамье
свой сон, волшебный самый,
о человеческой семье,
свой жребий несказанный...

Ещё страшней небытия
она была бы — жизнь твоя,
продлись она поныне.
Не возвращайся, сыне.

* * *

На грани подлинной свободы
жизнь оказалась недлинна,
но старый ямб — зачинщик оды:
ты — гениальная жена.
Не воркованьем голубиным
местечко в высях застолбим.
Держусь на голосе любимом,
твоим дыханием храним.
От бедной синевы небесной
до медицинской западни
дни зависания над бездной —
мои счастливейшие дни.

Игорь Моисеев

Остров Глазовка, или Главные по аистам

Повесть

Посвящается начинающим педагогам и тем, для кого они работают

Введение в глазовковедение

*(да, звучит непривычно, а что вы хотели —
новая научная дисциплина, привыкайте)*

Глазовка — это деревня. Как многие другие в Беларуси, такая же... но местные могут и поспорить, и я их понимаю. Да, всё вроде как у других, но это как посмотреть...

Вот взять хотя бы название. С одной стороны, вполне себе обычное, понятное название, ничего особенного. Потенциала, чтобы взорвать мозг, как, например, у *Дофаренции* (под Минском), *Габитации* (около Будслава) либо *Тюрли* (возле Молодечно; вот что за *тюрли* такие, спрашивается?), скажем честно, нет. Или поставить в тупик тайной происхождения названия, как у деревень (напомним, белорусских) *Париж*, *Антонисберг*, *Монголия*, *Кавказ*, *Байкал*, *Сахалин*, *Палестина*.

А что вы скажете об этой троице деревень: *Марс*, *Юпитер*, *Венера*? Вполне подходящие названия, чтобы стать родиной как раз для трёх белорусских космонавтов. Но нет, их вскормили вполне понятные городок *Червень* и деревни *Комаровка* и *Белое*. Недалеко от последней на лесном перекрёстке на столбе среди с любовью вырезанных из деревянных дощечек указателей — *Москва*, *Лондон*, *Минск*, *Борисов*, *Барань*, *Моисеевщина* (таки да, даже в этой дремучей чаше) — есть направление «*Селец — света конец*». Можно согласиться, так как дальше начинаются болота Березинского заповедника, а для кого-то и начало дороги в космос, как выясняется. (Хочется упомянуть и о Валентине Терешковой: её родители — выходцы из наших краёв, и в детстве она разговаривала по-белорусски.

Игорь Моисеев родился в семье сталинского сокола в ГДР (по праву, деды дошли до Берлина). Мать украинка, отец русский, дед поляк. Фамилия при этом библейская. Рос на Украине, в Беларуси и русской литературе. Национальность — сын империи. Прошёл иняз, учительство, Академию управления, госслужбу, в т.ч. МИД. Счастлив в семье, родил двух дочек. Публиковался в сборниках по политологии. Живёт в Минске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

А вот, допустим, вы такой рулите по трассе Р145 на Гродненщине, вечереет, места глухие, останавливаетесь переночевать. Так, от нечего делать, пересматриваете «От заката до рассвета» Квентина Тарантино и, зевая, спрашиваете у хозяина: «Отец, так как, ты говоришь, ваша деревня называется?» А он, значит, в ответ: «Так ты, сынок, ещё и не спрашивал, а называется она обыкновенно — *Вамперщина*». И так это у него один глаз заблестел (а может, показалось), а бабка его и внучка из-за шторы вышли и так это на тебя смотрят...

М-да... для ночлега больше подойдёт деревня *Храпаки* на Витебщине или, там, *Заперинье*, *Семигостици*, *Пирог* либо *Наливки*. Мило и агротуристично, не то что расположенные (подряд) в Берёзовском районе *Кабаки*, *Бухали* и *Рыгали*, или *Шалаевка* на Могилёвщине (нехорошо так о женщинах, куда как лучше в Мостовском районе — *Голубы*). Скажем прямо — грубо, недопустимо, господа хорошие, вон *Пропойск* переименовали в *Славгород*, так совсем другое дело (ведь могут, если захотят). Так и хочется спросить: «*Доколь?*» — а это название деревни на Могилёвщине. На самом деле, всегда есть выбор, и если вас не устраивают слишком диетические *Сухари*, то рядом расположены *Сластёны* (на той же Могилёвщине).

Настораживает большое количество деревень с названием *Козлы*... (не заморачивайтесь, ведь можно перенести ударение на первый слог — и получаем устройство для распилки брёвен, а то лишь бы постебаться; так вот, нет, держите себя в руках, а то один шутник-охайник, например, расшифровал славный город *Копыль* как «коровы и пыль», так нельзя). К теме животных, ни одно не забыто, хватает *Волков*, *Бобров*, *Барсуков*, повыбитых *Туров* и других в разных вариантах, но первый зверь?.. Подсказываю, с нашими болотами... правильно — *Комары*, *Комарово*, *Комарин* и тому подобное в самых немислимых вариациях.

Общество «Трудовые резервы» достойно представлено деревнями *Ковали*, *Косари*, *Домоткановичи*, *Пряльники*, *Докторовичи*, *Пасека*, *Рудня*, *Кожан-Городок*, *Старые* и *Новые Чемоданы* (Шкловский район), *Пекари*, *Гончары*, *Конюхи* (а рядом *Жеребковичи* — логично, не поспоришь). Это уже и не экзотика.

К какой категории пристроить *Голосатино* — не совсем понятно, наверное, к *Погорелке*, *Гадилевичам*, *Галимщине* (Ивьевский район), *Застенку* на реке *Смердь* и *Гореновке* на реке *Жесть* (ну просто ж... хотя ниже по течению расположилось *Добрынево*. Как говорится, если в одном месте убыло, то в другом — прибыло).

Уравновесим их деревнями *Рай* и *Хорошее*. К сожалению, приходится изъять из списка *Целуйки*, обезлюдившие из-за Чернобыля. Но, слава богу, на страже мировой гармонии продолжает стоять деревня *Вселюб* (может, и простое совпадение, но тут рядом В.Высоцкий проводил медовый месяц с М.Влади и написал песню «Здесь лапы у елей дрожат на весу» и ряд песен военного цикла).

Завершаем с курьёзами и небывальщиной и попробуем определиться с самым что ни на есть белорусским названием. Едва ли кого-то в Беларуси удивит, что в этом соревновании с большим отрывом лидируют *Заболотье*, *Заречье* и *Залесье*, повторившись много десятков раз по всей территории страны. Кроме того, тема леса бесконечно расширяется в вариациях вокруг названий всех известных деревьев и кустарников нашей зоны, от сладкой *Малиновки* до солидного *Дубно*.

Белорусская деревня как-то всегда с лесом, старается *прытуліцца* к нему хоть одним боком. Когда лес за спиной, то как-то спокойнее (не ровён час, «*наскокуюць немцы або начальства*», гы-гы-гы! — Нельзя так про начальство, вы что? — *Так мы нічога*. — Ладно, смотрите у меня!). В худшем случае лес всегда в зоне прямой видимости. *Бярозавік* (берёзовый сок), ягоды и грибы, как по пуповине, перекачиваются

в живое тело деревни, и городским перепадает. Ну и что, дело обычное. Как посмотреть. Вас не поражала неистребимая тяга японцев полакомиться рыбой фугу, несмотря на ежегодную смертельную статистику? Экзотично, необъяснимо. Да, а у нас сопоставимую смертельную дань собирают грибные угощения (чаще среди городских, растерявших навык). Кроме того, ежегодно несколько человек не возвращаются с грибной охоты, обычно это люди преклонного возраста (*невольнo возникает ассоциация с уходом на гору Нараяма*). Но разве это кого-то останавливает? И разве это не удивительно?

А *бязавік* (в смысле, берёзовый сок)? Как-то довелось участвовать в мультикультурном гастрономическом *фесте*. Подхожу со стаканом берёзового сока к арабской женщине и предлагаю попробовать наш аутентичный продукт. Моя собеседница оказалась благочестивой мусульманкой и первым делом поинтересовалась, не содержит ли напиток алкоголь. В этом плане я её успокоил. Но для халяльной еды важен не только состав, но и как приготовлена, добыта пища. Данный аспект я постарался объяснить попроще, доходчивее, на примерах. Представительница исламского мира приняла от меня стакан с берёзовым соком и стала внимательно, с доброжелательной улыбкой слушать.

«Получают напиток из сока берёзы, это такое дерево. Но это не тот сок, что, например, выдавливают из фруктов, а жидкость, которая циркулирует в стволе дерева, скорее, как кровь в теле человека. Её отбирают в особый короткий период пробуждения, взрыва всех жизненных сил, ну это как... э-э... у девушки на выданье. В это время жидкость-кровь особо богата биологически активными веществами. Делают такой надрез, ну как рану...»

По мере того как я рассказывал, глаза женщины округлялись, она побледнела, улыбка исчезла с её лица, рука со стаканом дрогнула. Она отшатнулась, вернула мне стакан и со словами: «Я держала в руках это дьявольское зелье, добытое столь ужасным способом, и теперь должна много молиться», — удалилась в расстроенных чувствах.

А вы говорите, что нам нечем их удивить. Рассказывать надо правильно!

Далее собственно Глазовка.

Глазовка явно из второй половины списка, где всё ясно и понятно. Звучит по-нашему, абсолютно, без подмеса, но вот в чём дело — название *Глазовка* ещё раз появляется только где-то на российских Тамбовщине и Дальнем Востоке. И о чём оно? Не привязка к местности, не род занятий, не характеристика, не производное от прозвища местных... Может, поселение инопланетных «зелёных человечков»? Вот у них глазищи так глазищи. Нет. Там живут наши, разве что случаются девчонки неземной красоты да парни под два метра (торчит такой старшеклассник за партой, *як сабака на плоце*). Обычно живут, ну, разве что самую малость по-своему, но наши, но всё-таки по-своему.

Что не так? Самое главное — у Глазовки нет леса, более того, его даже не видно. А стоит Глазовка в чистом поле, потому что «повезло»: балльность пашни высокая, поэтому в окрестностях лес выведен к чёртовой матери и всё расчерчено мелиоративными каналами, необычно для Беларуси. Правда, в самой деревне, среди садов, палисадников и вековых деревьев вдоль улиц, находишься, как в оазисе. Потому что если в пустыне оазис — это вода, то для Беларуси жизненная сила и экология души связаны с лесом, с деревьями. (Кто-нибудь знает, сколько деревьев нужно, чтобы белорус почувствовал их лесом, а себя комфортно?)

Оазис, нет — остров. Ещё до конца 1980-х сообщение с райцентром шло по

грунтовке. Где-то ближе к середине пути дорога спускается в низину, которую зимой месяца на два заметало до полной непроходимости. В тихую погоду грейдеры, бульдозеры разгребали снег, и автобус шёл в туннеле выше крыши (романтика), но если метёт, то всё бесполезно. Народ начинает прикупать хлеб с запасом, если что — одалживаются у соседей. Весной и осенью низина на несколько недель затапливалась. Сообщение с большой землёй осуществлялось трактором на гусеничном ходу, который тянул через хляби в райцентр на завод молоковоз — это святое.

Остров Глазовка. Теперь есть приличное шоссе, но характер глазовцев, характер стойких островитян сформировался задолго до улучшения связей с «большой землёй» (как и у других белорусов, привыкших к автономности и коллективному выживанию в лесах, среди болот, на многонедельных разливах половодья в поймах, что невозможно без местных неписаных кодексов, по которым, другой раз, живут не только сельские; кстати, деревень с названием *Остров* немало по Беларуси).

1980-е.

С детьми глазовских островитян выехали на колхозном автобусе (такой с «носиком», как у Жиглова с Шараповым, только поновее) к Миорским озёрам. В поисках удобной площадки под палатки петляем по немыслимой пересечёнке лесных дорог где-то между южной оконечностью озёр и деревнями *Волковщина* и *Тетёрки*. Выскакиваем из чащи сразу в деревеньку (названия уже и не помню) в одну улицу, которая идёт какими-то просто океанскими «волнами». Двигаясь по дороге вверх, ты не видишь ничего, кроме неба, а опускаясь, упираешься руками в спинку переднего сиденья. В нижних точках стоят вечные лужи, занятые домашними свиньями (отдельные — несколько зверского вида по окрасу, щетине и общему экстерьеру. Неужели?! Нет, не может быть, хотя вокруг лес...), в том числе мамашами с выводком уморительных поросят. Свинским детям не ложится: они то и дело выскакивают из купели, играя в догонялки посуху, а дородная мамаша похрюкивает, призывая обратно (вот это жизнь! А то у нас: *не лезь в лужу, я тебе сказала!!!*). Каждый раз приходится подолгу сигналить, шофёр выходит и пытается совестить наглых животных, получается с умеренным успехом — местные они, а не он. Апофеоз наступает, когда через дорогу не спеша перебирается кролик и спокойно удаляется во двор. Дети не выдерживают и высыпают из автобуса. Мы несмело идём следом, удержаться ведь невозможно (ворота — перекладина, которая сейчас снята, забор — две параллельные жердины между столбами, наверное, чтобы лоси не заходили). Хозяин — спокойный, приветливый мужчина средних лет.

— К вам тут кролик забежал...

— *Так, зноў загуляў з ночы, няма на яго ўправы, даскачацца, пакуль сабакі не парвуць...*

— Так он что, сам вернулся?

— *А хто ж яго будзе за руку... э-э, гэта... за лапу вадзіць?*

— А почему он вернулся сюда?

— *А куды ж яму яшчэ вяртацца? Дамоў.*

— Так он тут живёт?

— Ну.

Хозяин повёл нас в дальнюю от дороги часть двора, там стояло несколько кроличьих клеток, под ними и рядом нарыты кроличьи норы.

— *Вось тут, хто ў клетцы, а хто сам.*

— А как свиной собираете?

— *А чаго іх збіраць, есці захочуць, дык прыйдуць, у іх абед, як у немца, — на раскладзе, да і ў лесе жалудоў-жалудоў, а нанач — у хлеў.*

Хозяин явно заинтригован нашей неосведомлённостью в элементарных вещах и позволяет себе вопрос:

— *А вы з горада?*

— Да нет, сельские, но у нас немного по-другому (если не сказать больше).

Я смотрю, у вас замки не врезаны?

— *А ад каго нам зачыняцца, усе свае, а так куды з'едзеш, дык навясны.*

Глазовка не просто остров — это главный остров архипелага. Глазовка является центром мира для расположенных вокруг посёлков в несколько дворов и вполне приличной деревеньки в одну улицу — Ивановки. Сама Глазовка в несколько улиц, застроенных вдоль сходящихся от соседей и посёлков грунтовок. Большинство традиционных деревянных домов (такие и на Белосточчине стоят, и окрашены так же) выходят на улицу торцом в два, реже три окна. От улицы отделены микропалисадником, огороженным штакетником по пояс. Далее идут высокие и широкие глухие ворота с калиткой, иногда ещё несколько метров забора под стать воротам. Дом к дому, двор ко двору тесно прижаты, как будто совсем нет места, как... ну да, как на острове. Поэтому двор небольшой, иногда мощённый основательно доской. Собственно, фасад дома во дворе, сбоку или напротив двор замыкается сараем, где и вся живность, и припасы для неё, и мастерская у иного хозяина. Вход в дом в дальнем от ворот конце через веранду (т.е. надо пройти от ворот в дальнюю точку через весь двор), и тут же проход к *плану* (огород). *План* с садиком вытянут в длину. Компактный закрытый дворик (по площади вместе с домом и садиком с очень просторную городскую квартиру) даёт ощущение комфортного, защищённого личного пространства, из которого и выходить-то не хочется (а поужинать тёплым летним вечером под яблоней... но бывают и осень, и зимы).

Новое поколение строит здоровенные многокомнатные кирпичные дома, огороженные прозрачным штакетником (может, и дома, как гаргары, потому, что личное пространство полностью перешло со двора за стены дома).

Но глазовский «домострой» не общее правило, и мы с детьми островитян прочувствовали это на сверхконтрасте на Браславшине. (Ну да, автобус, палатки, уха, купание, сиделки у костра за полночь, запах разогретой на солнце хвои...) Едем. По одну сторону просёлка — озёра, по другую — из массива леса вдоль дороги «вырезано» пространство живописного луга. На лугу, в центре огромных участков, как будто только вчера (газон нетронутый) понатыканы дома. В результате деревня оказывается размером с Глазовку, а дворов при этом в несколько раз меньше. Участки чисто символически огорожены столбиками, соединёнными жердями, двумя-тремя и даже одной. От калитки (прохода с перекладиной) идёт тропинка к дому. Под грядки отведена ускользающе малая часть (на острове Глазовка и в междурядье яблонь могут быть грядки, под самый порог). Но дворы не запущенные, не заросшие, трава густая, но короткая, в разных местах над ней усердно трудятся «газонокосилки» — козы и овцы (последних в других регионах Беларуси уже было и не встретить). На подворье обязательно: несколько ульев, сарайчик с серьёзной дровней, собственная банька (часто на берегу озера, речки, пруда, чего здесь с избытком, или собственной *копанкі*).

Банька на подворье — роскошь на острове Глазовка. На любителя (на большого любителя): и на участке тесновато, и леса нет, поэтому дрова или торфяной брикет строго за деньги, десять раз подумаешь (если уж и затапливают баньку, то для всех

родственников). Есть колхозная, без городского изыска — душевых, — всё через тазики, но так, ничего себе.

Остров Глазовка. Первая хозяйка

— Когда уже вашу колхозную баню отремонтируют? Нормально не помыться.

— *А ты ўсё не намыешся, як дзеўка перад свадзьбай.*

— А так просто мыться не надо?

— *Мыйся, балею прынесці? Вады нагрэем.*

— А слить, а спину потереть, ну не Вы же...

— *Гэта да, я табе ўжо не згажуся... вунь Любка Міколкіна — у самым саку, аж шкура на ёй гарыць, так думаю, што яна табе і салье, як належыць, і патрэ, дзе трэба. Паклікаць?*

— Вы шуточки, а я серьёзно.

— *Ён сур'эзна... Дзе я табе тую баню вазьму, з кішэні дастану? Сам, сам, не маленькі, балея ў хляве. А калі не, то мядзведзь не мыецца, дык здаровы.*

(И что же произошло? От меня отмахнулись? Нет, мне предложили варианты и подарили философское обоснование, позволяющее сохранить мою внутреннюю целостность и предохраняющее, как говорят умники, от фрустрации. Это, может, и своеобразный, но целостный и самодостаточный мир.)

Глава первая

Трудоустройство

Собеседование

Выбор (за пределами премиального списка и жеребьёвки) был — школы в десятках деревень по всей Беларуси и небольших городах ждали своего учителя иностранного языка. Несколько дней прошло в телефонных переговорах с различными районами с лейтмотивом — «Да, конечно, приезжайте, всё будет хорошо, что-нибудь вам подберём». Как-то слишком абстрактно, а ведь это моя жизнь.

У друга тоже не задалось с телефонным трудоустройством. Решили провести разведку боем. Как-то выбрали Гомельскую область, произвели высадку в крайней северной точке, в Жлобине, и двинулись пешком (подсели на пеший туризм в студенчестве) прочёсывать деревни с общим направлением на юг (помните, как у классиков: «...Великий комбинатор вошёл в город с севера...», а в нашем случае — «Два начинающих авантюриста от педагогики...»).

На следующий день на границе Буда-Кошелёвского района, пока ничего не подозревающие местные жители мирно спали в своих хатах, мы заключили тайное сепаратное соглашение о разделе сфер влияния. Друг двинулся на запад, переплыл Днепр, как Чапаев, на одной руке, другой удерживая над головой узел с одеждой (*занимался плаванием*), и захватил деревню Капоровку в Речицком районе.

Я с боями прорвался через деревню Недойку. Директор и её муж-завхоз, что-то там заботливо подкрашивавшие на фасаде школы, были готовы взять меня в плен на любых условиях: «...Оставайся. Проси что хочешь. Немецкий не изучал? Подумаешь, да со словарём как-нибудь, не пожалеешь, часов по другим предметам надаём, на

Вадим Месяц

На луне нет снега

Улица Щорса

Тебе не сидеть на прекрасной парте,
окрашенной в модный зелёный цвет.
Любимого города нет на карте,
и улицы Щорса там тоже нет.
Да что там до Щорса, когда забыты
Гомер, Гарибальди и братья Grimm.
Куда же вы смотрите, следопыты?
Когда же мы с вами поговорим?
Эпоха заныкана тихой сапой,
пока я с похмелья смотрел кино.
Недавних героев прикрыли шляпой,
и мне без них холодно и темно.
В почёте посредственность и учтивость,
в пивную пускают по пропускам.
Скажите, товарищи, что случилось?
Куда направляться моим войскам?
Мне местность знакомая не знакома.
В витринах подсвеченных нет тепла.
И девушка, что провожал до дома,
фамилию мужа себе взяла.
Собаки не помнят своих хозяев
и верят отныне в любой обман.
И призраки двух кочевых трамваев,
качая боками, ушли в туман.

Месяц Вадим Геннадиевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1964 году в Томске. Автор более 20 книг стихов и прозы. Руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон». Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.

ЖЗЛ

Запомни меня героем,
что лез по пожарной лестнице
и писал твоё имя на шифере крыш.
Подростком на колбасе от трамвая
с папироской в зубах
(я ехал к тебе, дорогая,
всю жизнь я ехал к тебе).
Разорял осиные гнёзда,
проваливался в могилы на кладбище,
танцевал на подоконнике
или кидался кирпичами
в толпу молодых подонков,
пинающих друга Гарри.

Запомни меня героем,
убившим лыжной палкой крысу
на лестничной площадке,
оставляющим наскальные надписи
на прибрежных утёсах,
вандалом, пробивающим кулаком
морозные стёкла
в тамбурах поездов.

Что нужно выпить,
чтобы вспомнить всё?
Выйти ночью на мороз
и вдруг увидеть свою жизнь
как на ладони?

Я принимал обеты молчания
подобно Андрею Рублёву,
выращивал гомункулусов
в домашней кладовке
по рецептам алхимика Парацельса,
освобождал из лабораторий
мединститута стаи подопытных кошек.

Я состоял из приключений,
про которые сейчас неловко говорить,
но ты-то должна помнить,
что ценилось в те времена.

Какая разница, что я прожил
полжизни за океаном,
если и там я прыгал с поездов
и пел на пустынных станциях
«полыхнёт окно прежней болью»?

Запомни меня героем,
человеком, ржавшим всю жизнь над
понятиями *стресс* и *вдохновение*,
который пережил всех своих друзей,
потому что с упорством дурака верил в будущее,
навсегда оставаясь в прошлом.

Запомни меня,
потому что я сам ничего не запомню:
ни себя, ни дурацких поступков,
означающих молодость.
И когда моя биография выйдет
в серии «Жизнь замечательных людей»,
не читай эту книгу.
Помни только то,
за что можно любить.

Запомни меня героем.

* * *

Сидящий на стуле лицом к стене,
уткнувшись в сырую тьму,
имеет лицо на своей спине.
Не спрашивай, почему.
Не пробуй взглядеться в его глаза,
осмыслить ухмылку рта.
Для мудрых иные есть небеса,
другая есть красота.
Заботься, родной, о своём лице.
Втирай в него детский крем.
В фуражке ходи и в ночном чепце,
а здесь не ходи совсем.

На луне нет снега

На луне нет снега, только лунный свет.
Нет душе ночлега, и ковчега нет.
Если ей не спится в море болтовни,
на закате лица меркнут, как огни.
Пожилые овцы в пышных париках,
высохнут на солнце, выстоят в веках.
Им пространства мало, жалко им тепла.
В центр одеяла воткнута игла.

Спички

Тоголь очень боялся,
что его похоронят раньше, чем надо,
и поэтому всегда носил спички в кармане.
Когда на Даниловском вскрыли его могилу,
он лежал на боку с обугленной спичкой в руке.
Все писатели земли русской похоронены живыми,
только мертвецы бродят среди нас.

Квартирант

Котёнок пахнет нафталином,
поскольку ночевал в шкафу.
И полночь, прячась за графином,
строчит последнюю строфу.

Луна в окне на вид съедобна,
под стать светящимся хлебам,
во тьме ворочаясь загробно,
она тебе не по зубам.

И постоялец не выходит
из комнаты который год:
он в этом истину находит,
сравнив расходы и приход.

Лица его никто не помнит,
и лишь на вешалке кафтан
его страданием наполнен,
напоминая, что он там.

Давай отважимся однажды,
преодолев ночную жуть,
в пылу познания и жажды
к замочной скважине прильнуть.

Мы там увидим люцифера,
или печального вдовца,
в котором всколыхнулась вера
от обручального кольца.

И нам любить друг друга вечно
предписано и суждено.
Покуда жизнь бесчеловечна,
друзьям иного не дано.

Несметно бабкино наследство
из панталонов и чулок.
И дольше века длится детство,
качая тёмный потолок.

На четвереньках ищут черти
в ковре Кощееву иглу.
И мы сидим за миг до смерти
на красном пуфике в углу.

Светлана Волкова

Артизан

Рассказ

Алая, местами мятая драпировка сползла с плеча на голое бедро. Капитон поёжился и буркнул:

- Не топите опять. Дров жалеете. А сами в гамашах и шерстяном костюмчике.
- Не бурчи, Капитоша. Сейчас закончим, водки тебе дам.

Василий Семёнович Вишняковский, преподаватель Императорской Академии Художеств, весёлый бонвиван исполинского роста, любимец студентов, подошёл, поправил драпировку на плече Капитоши и, заметив крупные, с горошину, мурашки на мосластом теле натурщика, тяжело вздохнул:

- На сегодня давайте закончим. А то, и правда, простудим нашего Цезаря.

Студенты зашевелились, вытирая кисти и убирая краски в деревянные ящики.

Капитоша, кряхтя, слез с постамента, снял с лысоватой головы крашенный под золото лавровый венок и, присев на табурет, принялся развязывать тесёмки римских сандалий.

Василий Семёнович, огромный, облепленный учениками, как пирс мелкими ракушками, что-то объяснял, шутил, его войлочный бас был слышен и в коридоре Академии, и в соседних студиях, и даже в общем колонном зале, куда уже стекались профессора и академики на очередное собрание. Капитоша суетливо натягивал панталоны и растирал затёкшие от долгого позирования икры. На его правом плече рвано розовел след от тяжёлой римской фибулы. Капитоша поскрёб его ногтями и обернулся к аудитории.

Василий Семёнович, чья голова целиком возвышалась над макушками курящихся вокруг его мощной фигуры академистов, устало кивнул ему и поторопил всех к выходу.

— Друзья мои, ступайте, но не предавайтесь праздности! Вдохновляйтесь пропорциями Вселенной!

Молодые люди закивали, засуетились, будто, и правда, собирались сию минуту пойти куда-нибудь вдохновляться этими неведомыми пропорциями.

Когда за последним студентом закрылась дверь, Василий Семёнович широким шагом направился через весь класс к Капитоше.

Волкова Светлана Васильевна родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015). Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 3.

— Вот что, Гай Юлий мой. У тебя есть ещё сегодня работа?

— Не заказывали, — шмыгнул носом Капитоша.

Вишняковский молча подождал, пока тот застегнёт пуговицы на брюках, потом заговорщицки произнёс:

— Спрашивали меня давеча о хорошем натурщике. Чтобы торс был фактурный. Я о тебе сразу подумал. Правда, братец, тощ ты что-то стал...

— Так не жрамши ж с утраца! — перебил его Капитоша. — И так каждый денёчек!

— Да будет тебе, не жрамши! А кому я перед занятиями домашнюю ватрушку скормил?

— Водочки обещали-с.

Капитоша пыхтел, натягивая сапоги.

— Ну, обманул. Откуда в Академии водка?

Дверь приоткрылась, и появилась голова.

— Иду, сию минуту, — пробасил Вишняковский.

Голова кивнула и исчезла.

— Ты, Капитон Гордеич, часам к восьми ступай вот по этому адресу. — Василий Семёнович оторвал уголок от лежащего на табурете испачканного ватмана и зашуршал карандашом. — Средняя Мещанская, вход со двора. Восьмая квартира. На двери будет табличка «Арт-мастерская Дубко». Ну что ты смотришь на меня, как будто я тебе рубль должен? Ладно, не рубль, на вот, на водку, коль обещал.

Вишняковский сунул в ладонь Капитоше двугривенный и не без удовольствия наблюдал, как просияла нижняя половина его лица, при этом верхняя половина оставалась смурной: насупленные кустистые брови, прорезанные галками две морщины на лбу, колкие, с зеленцой, недоверчивые глаза; и только орлиный нос, не римский и не греческий, оставался монолитно-нейтральным и казался инородным на живой и подвижной физиономии.

Из коридора послышались голоса, Василий Семёнович поспешил к двери.

— Ты уж не подведи, голубчик!

— А сколько положат монет?

— Вот ты сам там и договаривайся. Только не жадничай, не срами меня, а то я тебя знаю.

— А вы, Васильсмёныч, пояснили-с господину Дубко, что я натурщик высшей категории?

— Высшей, высшей. Как ведь иначе? Артизан!

Василий Семёнович исчез за дверью. Капитоша напялил пальто и засеменил в коридор.

Артизаном звали его все академисты с лёгкой руки профессора Вишняковского. Значения слова Капитоша не знал, но очень оно ему нравилось — вроде как от французского art и с претензией. Было Капитону Гордеевичу Коржу без месяца сорок лет, что для натурщика уже возраст преклонный, но телом он оставался ладен, живот к своим годам не нарастил и осанку всегда держал не хуже премьеров Мариинского театра.

Чтобы блюсти себя в нужной физической форме, он каждое утро занимался в своей квартирке с гантелями и даже прикупил по случаю пудовую гирию. Потому и неизменно получал работу, если требовалась натура с обнажённым или полуобнажённым торсом, особенно когда в классе писали что-нибудь античное.

Всем его октавианам, цезарям, спартакам, меркуриям, гермесам и персеям счёт перевалил за несколько сотен. Позировал Капитоша с удовольствием, видя в своей нехитрой работе особую миссию, и за двадцать лет доброй службы поставил собою — собственной «раритетной», как сам выражался, фактурой — руку нескольким десяткам студенческих классов. Некоторые из академистов с тех пор стали вполне известными художниками, и Капитоша с особой тщательностью следил за их успехами, большими и малыми. Не из личной симпатии — в симпатии к живому существу Коржа трудно было заподозрить — но из коммерческого интереса: дома у него хранились некоторые их эскизы, и, не ровён час, кто-нибудь из бывших студентов выбьется в гении-классики, как, например, модный живописец Грабарь или скульптор Беклемишев, и можно будет продать ученические зарисовочки по наваристой цене. На всех эскизах был, конечно, он, Капитон Гордеевич, в образе или без, одетый, полуодетый или раздетый догола, целиком или даже частично: руки-ноги-голова, разинутый или закрытый рот, переносица с бороздкой поперечной морщины, брови, шея с выпуклыми ключицами и прочие его человечьи подробности. Любой потрох на благо искусству, как любил говорить тот же Вишняковский.

Особенно дорожил Корж зарисовкой Репина. На ней, правда, было только ухо, но Капитоша при случае любил похвастаться, что ухом этим можно любоваться на знаменитейшей картине мастера «Заседание государственного совета». А когда его спрашивали, какая именно из голов уважаемых членов совета на полотне осчастливлена Капитошиным ухом, то обычно фыркал:

— Конечно, господина Палена! Можно было бы и догадаться.

То есть предполагалось, что собеседник, любующийся картиной, непременно держит в голове образ уха натурщика Коржа и просто обязан узнать его.

Впрочем, по настроению, иной раз Капитоша отвечал любопытствующим:

— Конечно, господина Рихтера.

Или:

— Конечно, господина Иващенко.

И обязательно прибавлял: «Ну разве ж непонятно?»

Репинский эскиз хранился за окладом иконы в крохотной квартирке на Косой линии и ждал своего заветного часа. Когда этот час должен был наступить, Капитоша не знал, только чувствовал, что «надобно погодить»: Илья Ефимович был жив, здоров и на посмертный взлёт цены на шедевр классика в ближайшие годы шансов пофантазировать не давал.

Любимым образом Капитоши был неизменный во все годы «лежащий Ахилл». Писали его поголовно все классы — и живописные, и скульптурные. Преподаватели жаловали Ахилла за скрытый подвох: тело, приподнятое на локте, с дугообразным изгибом позвоночника, блестящий шлем с конским гребнем-щёткой, простыня в драпировках, накинутая на чресла, одна спущенная с топчана нога в сандалии, боковой оконный свет — всё требовало хорошо поставленной руки, абсолютного понимания анатомии и смелости не поддаться оптическому обману, делающему торс длиннее, ноги короче, голову более приплюснутой. Капитоша же любил Ахилла за то, что можно было не стоять часами, проклиная иголки в затекающих икрах, а просто-напросто отлежаться. Правда, потом ныл локоть, на который он опирался, но Капитоша придумал подкладывать под него мягкую фланельку, и стало, в общем, вполне комфортно.

И ещё Капитоша любил в Ахилле себя. Так любит искушённый зритель кумира сцены, и нет у такой любви соперников.

Одним словом, Артизан.

В коридоре толпились академисты. Капитоша безошибочно определял, кто из них акварелист, кто график, кто живописец или скульптор. Эти были как раз живописцы, спорили о мастерской Чистякова. Выпрямив спину, Капитоша прошествовал мимо них к лестнице, кланяясь в приветствии, не забывая при этом придавать лицу особую важную мину.

— Поторопитесь, любезные схолариусы, — сказал он им тоном Вишняковского. — Масло привезли. Белила цинковые в лавке с утра были и сурьмица...

Студенты закивали.

С каждым из них, как с любым из преподавателей, Корж находил свой язык, тон, манеру и даже тембр голоса. Как фокусник всегда вынимает нужную карту из колоды, так и он всегда безошибочно определял, с кем и как говорить. С Вишняковским можно по-простому — «пожрамши», «каженный» и «надьсь», с Чистяковым и Ровнянским же такое неуместно, а со студийцами — вообще особая речь нужна.

Иногда ему в голову закрадывалась мысль, что нет у него своего-то голоса, но думать долго и размышлять о философских материях Капитоша не любил, и всякую заумь гнал от себя прочь.

В Академии готовились к празднованию трёхсотлетия дома Романовых, торжества намечались на начало марта, и суета стояла страшная: оставался месяц до официальных мероприятий, среди которых была выставка работ студентов и преподавателей. Ректор Академии Великая княгиня Мария Павловна собиралась навестить подопечных на днях, и по этому поводу тоже хлопотали на всех этажах. Рамы и подрамники, огромные, едва входившие в двери, выкатывали на колёсных козлах да так и оставляли стоять в коридорах до распоряжения, в какие классы определять. Чуть поодаль прижимались друг к другу струганными боками ящики — в них, завёрнутые в три слоя мокрой рогожи, томились куски сизоватой глины, ожидая скорого распределения по студиям. Рядом складывали длинные резные багеты, и кто-нибудь обязательно наступал на них.

— Порядка нет, — ворчал Капитоша, качая головой. — В прежние времена порядок был, а нынче нету порядка.

Уже у самого выхода, рядом с одной из колонн, стоял молодой человек в чёрной длинной шинели, обняв большую папку из плотного синего картона и задрал к потолку голову. Когда Капитоша поравнялся с ним, тот произнёс:

— Божественно!

Капитоша посмотрел вверх, на лепной плафон и свисающий на цепи из самой его сердцевины огромный круглый канделябр. За долгие годы службы Корж привык к окружающей его красоте и почти не обращал внимания на то, что так завораживало посетителей, впервые оказавшихся в Академии. К примеру, одна Минерва, сидящая на своём вечном постаменте и глядящая прямо в зрачки посетителям — мраморная строгость лица, точёный подбородок, колдовские надбровные дуги!.. Поглядишь в глаза этой ведьме и пропадёшь в них. Умели ж античные мастера, даже копией не испортишь «пропорции Вселенной».

Корж оглядел незнакомца: шинелька худенькая, картуз не по погоде, торчащий из кармана, руки красные, обветренные на морозе. А сам на Христосика похож, борода жиденькая, личико блаженное. Вероятно, студентка или из разночинцев. Капитоша прошествовал было мимо, но посетитель окликнул его:

— Любезнейший! Не поможете ли определиться?

Капитоша хотел «не расслышать» и не умалил шага, но незнакомец ловко обогнал его и засиял улыбкой, будто именно к нему в Академию и наведалься.

О. Камов

Разные люди

Рассказы

Реставрация

Ночь напролёт лупил безжалостный дождь, прибывший с опозданием с Залива, временами с крупным градом, тогда крыша вообще ходила ходуном и стонала под барабанный бой.

Природа продолжила своё подлое дело: с утра, под ярким солнцем, я не досчитался очередной причудливой плиточки благородного терракотового цвета на пяточке перед входом в родное гнездо. Вернее, та плиточка существовала. Но в трёх кусочках, не слишком здорово. А оконные стёкла — целёхоньки, что за чушь?

Ещё пару фрагментов олени копытами выбили, что они тут искали — один бог знает. Да то, да сё неизвестного генезиса, да у плотников, которые крышу поправляли, молоток упал сверху — будьте любезны, хотя при чём здесь природа, обычное разье*айство и ничего более.

В итоге красивая, типа шагаловских витражей, картинка под ногами, которую мне бесплатно соорудил Рикардо — «Подарок, хорошее настроение сегодня, сэр», — смотрелась как шербатый рот звезды российского журнализма: дырки на первом плане. Только не надо придирается, разницу между витражами и изразцами понимаю, ну не Шагал, поскромней, остыньте чуток, господа снобы.

Перед этим он выстроил мне витую каменную лестницу на крутом склоне сзади и дорожку, упирающуюся в небольшую площадку под дубом. Все гости, не сговариваясь, сразу назвали её вертолётной, будто забыли, что размер имеет значение.

Маленький коптер с камерой может и стартовал бы отсюда при удачном управлении, да перерос я такие игрушки, всему своё время, помню, как в свежееобъединённой или, выражаясь по-современному, юнисексной школе на самой задней парте в нашем классе сидели две весёлые подружки-переростки-двоечницы с буферами поболее, чем у строгой плоской учительницы литературы, смотреть на них было истинное наслаждение.

Автор, сочиняющий под псевдонимом О. Камов, — специалист в области прикладной и вычислительной физики, окончил МФТИ, работал в одном из московских академических институтов. Рассказы опубликованы в журналах «Знамя», «Урал», «Новый Берег», «Звезда». Постоянный автор «Дружбы народов».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 8.

Сейчас думаешь: большое дело, дуры малахольные с грязными ногтями.
Но тогда...

Тот подарок довольно просто объяснялся: оставался раствор, и к тому же было немерено боя плитки всевозможнейших форм и цветов. Такая ситуация у каждого каменщика случается пять раз в неделю, если не чаще. Но у Рикардо были ещё воображение, золотые руки и доброе сердце, вот он и создал шедевр за пару дополнительных неоплаченных часов, к тому же, возможно, он оценил, что я не пытался торговаться с ним, когда подряжал на работы.

С тех пор я всякий раз, когда к дому возвращался, под ноги тщательно глядел у порога: что там нового?

Сегодня — колоритный пейзаж средиземноморской деревни.

Вчера мерещилась какая-то извращённая похабень — Шилле бы позавидовал. А завтра бабушку любимую увижу: вот же её сухая морщинистая рука в сплетены голубых вен, глаза коричневые огромные, извиняющееся выражение милого лица...

И когда поутру на свободу выбирался — сразу очи долу обращал, а не ориентацией облаков на сумрачном небе интересовался, — вот что наделал со мной маленький смуглый мексиканец.

И плевать, что кому-то может показаться, что у меня крыша тоже слегка едет, как у моей скромной хаты под харрикейнами с Залива.

Думайте что хотите, но пятачок перед входом — моя Малая Земля.

Что за дела? — спросите вы, — что за плач египетский? Взять айфон да набрать чувачка — много ли времени потребуется? Секунд двадцать, — отвечаю, — а может, и того менее, и услышу его: «Ола, сэр!» Из города Сан-Диего, всего-то три тыщи миль от нашего посёлочка. Он уже несколько лет как счастливо воссоединился на Западе со школьной подругой, нелегально подкопавшейся в Штаты ниже колючей проволоки. Любовь — категория не пространственная, а сугубо временная — поверьте бывшему физику.

В общем, щербины в Рикардовой картине серьёзно расстраивали меня.

Пока однажды не услышал за спиной: «Какая прелесть!»

Обернулся: спортивный, симпатичный, современно одетый мужчина примерно моего возраста, ну, может, лет на десять моложе — в моём возрасте разница неощутимая. И видно было, что не шутит, я этих снобов грёбаных в гробу видал, а куда пусть продолжают встречаться в музее Метрополитен у фонтана с шампанским.

— Спасибо, — отвечаю, — рад, что вам нравится, ценю ваш хороший вкус.

— Народное начало, конечно. Но... Вы, случайно, не были в Покантико-Хиллз? Рокфеллеровские места, недалеко отсюда. Там в церкви витражи авторства Шагала, вы уж простите меня за смелое сравнение. Первое, что в голову пришло...

Прощенья просит. Да я бы его на руках носил, если б мог, за такие слова, надо же, близкую душу встретил. И где — у своего порога!

А он продолжает:

— Ваша работа?

— Ну что вы, — говорю, — подарок одного талантливого мастера каменных дел, который, к моему несчастью, перебрался на Вест Кост, а я ломаю себе голову, стараясь сохранить его произведение — эти чудовищные потери в композиции убивают!

А он:

— Думаю, смогу вам помочь. Я, конечно, не профессионал. Но имею некоторый опыт — недавно полностью обновил подвал: оштукатурил, положил плитку на пол и стены и соорудил какое-то подобие витражей, хотя они даже рядом не стояли с вашей, вашим... У вас, случайно, не сохранились фотографии?

— Конечно, — отвечаю, — не один десяток наверняка.

— Тогда мы в порядке, давайте телефон... Вот мой номер, свяжитесь со мной, если желание возникнет, меня зовут Эйрон.

Он и фамилию свою назвал, и я в ответ представился полностью, и хотя добавил стандартно, что было замечательно встретиться, но говорил со всей возможной теплотой, глядя в его внушающие доверие голубые глаза...

Прощаясь он сказал:

— Удачный день, я в ваш посёлок никогда не забредал, хоть мы и соседи, круглые дни гуляю рядом — три мили туда, три обратно, два часа вся прогулка, буду ждать.

И уже с дороги:

— Замечательная картинка, будто стайка юных красоток!

Вот уж что ни разу в голову не приходило, как он их там разглядел, не сосчитать ассоциаций-коннотаций.

И попробуй заподозри такого приятного человека в эстетических-психических девиациях, я с моими диковатыми фантазиями на его фоне полным психом выгляжу.

— До встречи, Эйрон, спасибо за предложенную помощь. — Ну и сосед, прямо ещё один подарок!

Неделю спустя он приехал ко мне с огромным ящиком керамики и отпечатанными фотографиями Рикардова труда, которые я ему переслал.

— Обратите внимание на качество, распечатал на службе, на лучшем принтере, ни одного оттенка не потеряем. Ну, поехали, храни нас бог!..

Я, естественно, был на подхвате: подать, почистить, найти... — чернорабочий труд, я и не мог претендовать на что-то иное, более того, Эйрон излагал свои просьбы так вежливо, что трудно было ему отказать, он каждый раз как бы советовался со мной, принимая решение, чем полностью расположил к себе.

Через несколько дней почти всё уже было сделано. Он в который раз оглядел восстановленный шедевр, протянул задумчиво:

— Чего-то здесь не хватает, — и показал на самый центр композиции, — буду думать. И вы подумайте тоже, если будет время.

Я хотел было возразить ему сходу: зачем улучшать авторский замысел? Только постеснялся и промямлил что-то дешёвое, типа: «Конечно, обязательно». Естественно, никакие благие мысли мне в голову не приходили, но, видно, и он был в раздумьях, объявился через две недели.

Вылез из машины, сунул руку в карман, достал с видом победителя:

— Нашёл! Как капля крови! Торжество жизни! Как вам?

В его ладони лежал довольно большой, слабо отполированный красный камень, действительно выглядевший как плоская капля.

— Вы серьёзно? — спросил я. — Это же драгоценность, думаю, рубин, — честно говоря, других красных я и не знал, а эти кристаллы хоть в лазерах работали. — Такой камешек может тысячу баксов стоить, ему женскую грудь украшать надо, а не сырую землю.

Эйрон на миг задумался:

— Почему тысячу, а две — не хотите?

Увидел моё изумлённое лицо и сказал:

— Сколько точно стоит — не скажу, но купил его вместе с оправой за пять баксов на местной толкучке, думаю, обычное стекло, благословите, очень прошу.

Ну что мне было делать...

Закончили, он достал из кармана платок, отёр лоб:

— Поздравляю! Кровь решила всё, надеюсь, я не ошибся, я не должен ошибаться, у человека из Хьюмэн Рисорсис такого права нет вообще.

Наконец-то я узнал его профессию — менеджер человеческих душ из отдела кадров. А вначале думал: врач, хирург — уж очень ловко он своими крепкими руками работал, очень точно рассчитывал каждое движение.

— Последнее время чувствую какую-то неуверенность: постоянные сокращения, нервы напряжены, ощущаю дискомфорт в груди, будто давит кто-то. Люди не должны видеть мою слабость, я ведь объясняю им, почему мы должны расстаться, понимаете?

Ну как не понять, много раз был на грани и даже испытал, наконец.

— Я же вижу человека до самого дна, взгляну на него, поговорю минут десять-пятнадцать — и он у меня как на ладони. И признаюсь вам, некоторые индивиды вообще не имеют права топтать землю, я был просто раздавлен, когда впервые осознал.

«Эге, дядя, ты, оказывается, не меньший псих, чем я, тебя не только кардиолог ожидает, но и психиатр встретит с букетом цветов», — подумал я.

— Спасибо вам огромное, меня эта реставрация просто спасала от всех напастей, вы не будете возражать, если я вам позвоню попозже? Может, встретимся, посидим где-нибудь, выпьем по бокалу вина, музыку послушаем?..

Я, в общем, был не против, он же сильно мне помог.

Но не успел: я уезжал в Европу, к дочери, а когда вернулся — нашёл оставленное на телефоне послание, что мистер N, в общем, Эйрон скоростно скончался. Дата похорон, естественно, давно прошла.

Только ведь это ещё не конец истории.

Где-то через полгода имя човековеда всплыло в местной прессе. Семья, заселившая им покинутый дом, озаботилась высоким уровнем радона в подвале и вызвала бригаду специалистов по вентиляции. И те, пробивая стену для вытяжки, наткнулись на человеческие останки.

Надо отметить, что в нашем городке за последние три года пропали без вести восемь девушек. Я знал — и забыл; тем более что полиция никак не связывала исчезновения: люди же движутся, чёрт возьми, и даже пропадают иногда без предупреждения — вяло комментировали копы.

Их всех нашли там, замурованных. Всю стайку юных красоток.

Я, как это прочёл, сразу сел в автомобиль и направился в магазин «Домашнее Депо», купил там кирку и пакет семян травы, а лом у меня уже был в гараже.

Потом вернулся домой и расхерачил своего дешёвого «Шагала» в мелкую крошку, прости меня, Рикардо. А мусор закопал около вертолётной площадки.

Зелёная лужайка перед входом тоже хороша.

Ольга Иванова

Из «Книги Жизни»

посвящаю моим детям, Савве и Софии

* * *

сроду позабыв об адресате,
месива юдоли не месить,
воздуха её не сотрясати,
во степи её не голосить,

разминувшись с этими и теми,
дабы не облаяла молва,
обходя насущнейшие темы,
сглатывая главные слова,

покидая просеки широки,
бортанув кудрявый звукоряд...

...есть такие *крестные* дороги,
что о них уже не говорят

* * *

вне дерготни ежеминутной,
назло обыденной беде,
где в этой гнилостной и мутной,
густой неведенья воде

ни на блесну златого слога,
ни в сети дел не уловить —
в тебя глядящегося Бога
в себе, как в зеркале, увидь

Голгофа

1

добротные стены, толпа у ворот —
мол, нако-ся, втиснись.
светил нескончаемый коловорот.
движение жизни-с.

сверхновая в небе, волхвы да дары —
в заделе. на деле ж —
бандитская свара у лысой горы
да риз Его дележ.

сплошное подножье, и выше — не взлезть,
хоть Небо и нудит.
и так искони это было и есть.
пощады — не будет.

2

химера мира
его вершина
внизу — всё та же
возня мышина

в норе репризы
всё то же деют
всё те же Ризы
всё те же делют

устами шкодят
сего не мают:
с Креста не сходят —
с него снимают

3

сугубой объяту хандрою,
как сор, попирая миры,
беззубой и чёрной дырою
Его пожирая Дары,

ни слуха не емля, ни зренья,
ко древу Творца пригвоздя,
венцу, извините, творенья,
в сознание не приходя,

пока не расселась утроба —
пограмотней время убить...

Тому же —
всё это до гроба,
и дальше — до ада! — *любить...*

* * *

потому что поля не перейти —
делово колеса по склонам,
за чужие скатерти по пути
не присаживаться с поклоном,

даровой жратвы не давать устам,
на чужое жнивье не льститься,
чтоб когда-нибудь очутиться там,
где не можно не очутиться,

и шепнуть, торжествуя, как в Рождество,
улыбающемуся Богу,
что любила здесь одного Его.
да, быть может, саму дорогу.

Благодаренье

благодарю Тебя, Господь
за эти небо, воду, сушу
за эту гибнущую плоть
и оживающую душу

за эти царственные сны
незадолго до пробужденья
за благолепье седины
в пятидесятый день рожденья

за снисхождение Твое
за неизбежное Свиданье
благодарю за бытие
благодарю за увяданье

* * *

скрытое здесь от досужего ока
ширится где-то внутри...
в эту пробоину с левого бока
просто замри и смотри —

как несгибаемо [пусть и незримо],
в любящих Отчих руках,
как непреложно и неоспоримо,
всепобеждающе как,

мимо восторгов её, содроганий,
мимо притрав и утрат,
вне апологий и вне поруганий,
в горний Его вертоград

из увядающей этой юдоли,
в умном безмолвии вод,
меж берегами блаженства и боли —
лодочка жизни плывёт...

* * *

не чурайся земной твердыни,
рогом роя, навзрыд рыдай —
а найди по стезе гордыни,
дара Божьего не предай,

неживого не презри дёрна —
не окажешься неправя.

и очнутся сухие зёрна.
и обрящутся дерева.

и, бессильные, — пустят корни,
и, немые, — заговорят.
и в хлеба претворятся — камни.
и стучащему — отворят.

Три стихотворения

1. *Silentium*

успеть бы досказать...

о. Константин Кравцов

в сыру землю влезать —
не поле перейти
успеть бы досказать
о краткости пути

и где-то посередь —
как заново начать —
успеть бы замереть
успеть бы замолчать

2

не треба гомонить
харэ переживать
серебряную нить
полдела — оборвать

в Объятии Твоём,
спасаемые в ём, —
и жизнь — переживём
и смерть — переживём

3

посреди мирскова моря,
векова людскова горя —
острова монастырей...

разбуди меня скорей

Борис Лейбов

Мехом внутрь

Рассказ

Да тут не зима, а одно название.
Ужас. У детей сексуальное образование!

А. Дельфинов

Сейчас будет немного розового, потом всё. Солнце достанется тем, кто в самолётах. Тени пальм ложатся на стену гостиницы. Моя — на песок. Минуту горланят попугаи. Тени тянутся и тают. Принимается дождь. Птицы глохнут. На лужах зыбь. Я застёгиваю куртку, чёрную, без капюшона, и встаю с лежака. Рассвет окончен. День накрывается облачным одеялом, дальше он будет одноцветным.

Мелочь тянет карман, и надо бы в аэропорт, встретить Виктора, но билет на автобус отберёт половину. Это и хорошо, потому что куртка станет легче, и плохо, потому что вдруг приспичит выпить мускатного вина, а монеток не хватит. Опция выпить мускатного вина в любой момент — это удача. Держи её крепче. Это торт под вишней. Это привилегия, недоступная большинству землян. Большинство землян ежедневно проходит более мили до источника питьевой воды. Я уверенно занимаю следующую ступень на лестнице потребностей. Мне пришлось бы пересечь четырёхполосную улицу генерала Алленби и потратить половину всех денег. Но я придерживаю своё право выбора. Поеду в тяжёлой куртке.

С тех пор как я рассорился с деньгами, я стал везучим. Никаких контролёров. Пропускаю вперёд женщину. Она в чём-то размытом и войлочном. Что-то похожее на бурку. «Спасибо» не говорит. Таким, как я, никогда не говорят «спасибо». Она скользит мимо — под полкой не видно обуви — и хмуро усаживается. Она обсуждает с подружкой Ольгой Telegram-канал, посвящённый колбасе. «Там даже квадратные есть. Её можно резать квадратиками». Я прохожу в конец, чтобы никого не смущать. Несвежих не любят. Вот заселится Виктор, и я первым делом помою голову. С чистой головой я бы к ней подсел. Такие всегда после кормят.

Пару раз и у меня были деньги. И счастливым я не был. Всё время думал о них. Всё думал, как бы устроить так, чтобы они множились, переживал, как их сохранить.

Лейбов Борис Валерьевич родился в 1983 году в Москве. По специальности социолог. В 2008 году окончил Высшие кинематографические сценарные курсы (мастерская О.Дормана и Л.Голубкиной). Автор книг «В густой траве», «Лилиенблум» и др. Печатался в «Иерусалимском журнале», «Дружбе народов», «Знамени». Живёт в Тель-Авиве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 2.

А когда их стало совсем мало, я разнервничался до того, что поехал на автовокзал. Решил купить у суданцев пистолет и застрелиться. Но денег хватило только на амфетамины. И я остался пожить.

Под утро он мне приснился, Виктор. Стоял, маленький, у нашего подъезда и кричал в сложенные ладони, как в рупор: «Тётъ Марин, а Сироткин выйдет гулять?» Конечно, выйду, Вить. Я только и делаю, что гуляю. Жаль, что летит не ко мне, а к моей жене. Но где я и где страсть? Отвечаю. Я в автобусе № 193 с немойтой головой, а страсть — в Витином сердце.

Остановились на долгом светофоре. Мысли тоже. На балконе низкого дома приседает со штангой на плечах мужчина с красным лицом и животом. Из его квартиры льётся: «Ты не ангел, но для меня, но для меня...» Да, в каждом мужчине должна быть загадка. В спортсменах их больше. Зачем они так? Это ведь всего лишь жизнь. Зачем так упрямо за неё цепляться?

Тронулись. Сегодня будет неловко. Виктор обязательно потащит пряником к жене, а за мной долг, и мелочи в кармане явно не хватит. И чего считать. Всё равно не отдам. Со своей второй ступенью потребностей мы так просто не расстанемся. Когда в последний раз виделись с ней, было ещё тепло, а в небе светились планеты и звёзды. Она была раздражена. Согласилась переводить Летова и упёрлась в труднопроходимое «винтовка — это праздник». Застряла. Стала рассеянной и нервной. Дала денег на мускатное вино и парацетамол, а я не вернулся. И какая она жена... Витина университетская любовь. Тогда деньги были нужны, не как обычно, а необыкновенно, и я торгнул национальностью и увёз её как жену. Переехали к морю, где я купался и жил за её счёт два года, пока ей не выдали паспорт. А как выдали, стала мне гражданка осторожно намекать: «Сироткин, ты когда съедешь?»

Автобус выезжает на шоссе, и я кладу под язык успокоительное. Пополз тусклый вид благополучной загородной жизни: поливалки, дети, золотистые ретриверы. Уставлюсь лучше в пол. На белой равнине моего ума проступают проталины. Островки надежды. Приятности жизни, к которым ещё можно пристать. Да, между нами что-то было. Что-то хорошее. И хотя в очереди перед посольством мы пожали руки и договорились вместе не спать, сколько бы ни выпили, иначе запутаемся, секс по прилёте всё же был. Два с половиной раза. Первый был самым приятным. Стремительный и бойкий. Неожиданный, как авиаудар. Дождь шёл так долго, что перестал уместаться на улице и протёк с потолка. Я заделывал дырки в стене, сушил феном диван, найденный в переулке, и был всем доволен и всему рад. Но в одинокий ночной час поза «валетом» дала сбой. Большой, неотапываемый мой нос потянул меня остального в сторону её шеи. Она наверняка была тёплая. Не то что холодные пальцы холодных ног. Я перелистнул себя и уткнулся в её кислое дыхание, и был превратно понят. А дальше, как говорят в моей внутренней Англии, — раз уж встал, сделай чай. Нельзя. Нельзя нарушать закон рукопожатия. Совсем скоро она спросила: «Ты что, правда вот совсем ничего не делаешь? — И следом: — Не хочешь рассказать, где пропадал?» Делить квартиру с упрёками я не мог себе позволить. У меня с юности нервы не строят. Я убежал как молоко, эффектно и неожиданно. Но возвращался, на полтора раза, а после — всё, только если занять.

Виктор стоит с вещами в пустом зале прилёта. Видимо, я опоздал. «Привет», — мы обнялись. В целом он похож на меня, только высокий и рыжий и окончательно богатый. Потому и вернулись мы на такси. Потому и отель встретил его метрдотелем в фуражке. Никто не знает, как зарабатывает Виктор. На вопросы иностранцев

(обыкновенно за стойкой): «Так чем вы занимаетесь?» — Виктор отвечал: «Так... зис энд зэт». Ещё у него изумительное качество: говорить невпопад. Это водилось с детства. Мы сидели, разведённые завучем, и я, как многие, думал о грядущей перемене, в общем, был серостью, а он мог, не поднимая руки, ни к кому не обращаясь, вдруг выпалить: «Такой черешни, как тогда, в Туапсе, здесь не найдёшь», — и класс погружался в изумлённое молчание. Никто не знал, где Витя странствует, сидя на задней парте у окна. Мы подъезжаем к гостинице, я разглядываю распуганных дождём пешеходов и гадаю, почему так вышло, что за чем бы я ни ходил, всё одно возвращаюсь на городской пляж. Я погоде вполне соответствую. Светел в мыслях и грустен лицом. А он поворачивается ко мне: «Мой прадед был настолько крут, что у него даже рабы были белые». И, подумав в другую сторону, добавляет: «Я решил сегодня развязаться!»

Мы поднимаемся в лифте. Плохая эта затея. У Виктора с вином были такие же отношения, как у меня с жизнью, — любовь без ответа.

— Вить, тебе не стоит.

— Почему это?

— Потому, что ты напьёшься и ещё помрёшь, а у тебя дома дети.

— Ты тоже у кого-нибудь умрёшь, Сироткин. Однажды. Не бойся.

Я ужаснулся набитым роскошью номером. Все эти гнутые ножки, агнцы на потолке, вензелёчки, и кисточки, и перевязанные шторы. Всё это не вязалось с большой водой за окнами. Вазы с фруктами и сладостями стояли повсюду. Я представил декоратора. Представил его в детстве, в сельской школе под Бухарой, с несуществующей библиотечной книгой о путешествии Людовика в древнюю Грецию.

— На вот. Халва.

Я протягиваю другу детства золотой поднос, в пору для жертвенной головы.

— Зачем мне халва?

— В раю халвы точно не будет.

Условились ехать к жене, как только он разошёлся, а я помою голову. Накывыряв себе из Витинового чемодана чистые трусы и носки, я выкинул своё бельё в мусорку под столиком с телефоном и стал гадать, какая из белых дверей с ручками в виде виноградной лозы ведёт в ванную. «Не стесняйся», — сказал Витя вслед моей заднице и стал набирать «скорую».

Вернувшись чистым как Адам (горячая вода просто не заканчивалась), я обнаружил неприятного человека, сидящего на краю кровати. Это был врач. Он сносно говорил по-русски, как говорят дети эмигрантов или люди среднего ума, прожившие более декады за пределами родной речи. Доктору страшно не повезло с лицом. Губы его были тонкими, зубы мелкими, а улыбка широкой.

— Но зачем у вас в попе яд? Я не понимаю.

— Чтобы не пить, — Виктор был сдержан и учтив.

— А почему просто не пить?

Виктор сдержался и не ответил ударом, как следовало.

— Я вам дам номер клиники, мой друг — очень хороший специалист...

— На «очень хороший» у меня нет времени. Упростим задачу. Вы расшиваете меня сейчас. А через три дня возвращаетесь и зашиваете. Догадываюсь, это очень дорого, но...

— Но нет. Записывайтесь в клинику. Вам нужен другой специалист. — И он вышел.

Равнодушный, как Бог. Он бы смог, но не захотел, и оставил нас в обруче грусти. Виктору теперь ехать к любимой трезвым, по-медвежьки неуклюжим и по-заячьи трусливым.

Мы покурили дважды у моего старого подъезда. Разговор не вязался. Виктору не доставало уверенности для шага. Мне не доставало портвейна для всего. Шли по лестнице и останавливались. Каждый думал о том, что надо бросать курить, и о том, что ещё успеется. Я отдышался и нажал на опалённую кнопку звонка. Он не работал. Где-то глубоко, под мелочью, лежал ключ.

— Неудобно как-то, — сказал Виктор. Он был слишком нарядным для такого облезлого, мерцающего подъезда, где постоянно что-то капает и шуршит. Пиджак и букет были чужеродными.

— Нормально. — Я отпер двери и понял, как далеки мы сейчас от «нормально».

В коридоре на четвереньках стоял полный голый китаец. Голова его была спрятана в кожаной лошадиной маске. Позади свисал крапчатый хвост из ремешков. Держался он не на честном слове. Седоком на китайце была жена. На её голом теле, на плечиках, сидел военный китель. Трусов не было. Были сапоги. Блестящие. Со шпорами.

— Сироткин? Витя?

Виктор возложил к её ногам цветы, и мы тишайше ретировались. Дальше только автобусная станция. Только суданцы. Никаких других опций жизнь не оставляла. Хватит заигрываний.

Парень в платке с вырезом завёл нас за ржавый внедорожник и собирался было сесть на корточки, но Витины жесты и мой английский достучались до него — мы пришли не за любовью, не за скорой радостью. Нам бы чего покрепче и побесперывней. Он ушёл в подъезд. Его не было несколько сигарет. Вместо него выкатился накачанный гигант, голиаф цвета затмения, пересчитал дважды деньги и тоже ушёл.

— Нам сегодня не повезёт трижды? — Витя грустно спросил меня, хотя скорее — Вселенную.

— Так не бывает, — ответил я за неё. — Бог любит хороших людей.

Большой парень вернулся с контейнером сухих грибов.

— Это что? — спросил я, зная ответ. — Мы хотели посерьёзней.

— Это серьёзней.

Больше он ничего не сказал. Через двор мальчик кричал в сторону дома на непонятном языке, в окне появилась женщина с полотенцем на плече и на том же непонятном языке его отругала.

В день неторопливо возвращались краски. Мы спускались по бульвару к набережной, жевали сушёное крошево, запивали его трупный запах сладкой газировкой.

— А как ты понял, что он китаец? — спросил я. — По коричневым соскам?

— Не. По орденам на мундире.

Мы ещё какое-то время жевали и шли.

— А я ведь влюбился, — Виктор остановился. — Как писатели в описание природы.

— Ауч, — я не знал, как лучше поддержать подраненного друга. Я почти что слышал его обиду. У неё был глухой стон фагота.

— А помнишь соседского мальчика, который качался на стуле, упал, разбил голову и умер? — Виктор пытался сменить тему. Увести нас от тяжёлых мыслей. — Как его звали?

Я пожал плечами. Вообще-то я такого соседа не помнил. Разбившийся мальчик мне казался вымыслом наших мам. Они хотели, чтобы мы сидели ровно. В ответ

я вспомнил другого нашего соседа, настоящего. Дядя Серёжа, который жил под нами, на третьем.

— Грибника помнишь?

— Дядю Серёжу?? Да!

Мы доели всё, что было, и искали мусорку. Искали мусорку и вспоминали дядю Серёжу. Дядя Серёжа мрачных чувств, как моя жена, за собой не волок. Однажды он поехал на электричке за грибами. Должно быть, был выходной день, возможно, суббота.

— За Люберцы он ездил.

Я упустил начало спора.

— Говорю, за Люберцы, — настаивал Виктор.

— Да какие Люберцы, какие Люберцы, — мне было странно застать себя говорящим всё это. Собственные ответы доходили до меня медленнее, чем до Виктора. — В Загорск он ездил. Он вернулся с полной корзиной. Пожарил грибы с луком.

— И картошкой, — вставил Витя.

— И картошкой, — я решил примирить нас, хотя знал, что никакой картошки не было. Картошка и дядя Серёжа? Да ну бросьте! Да никогда в жизни. Сел грибник ужинать. И жену посадил тоже, ужинать. Он успел выпить чуть больше половины бутылки водки, пока не упал без чувств.

— 0,75? — уточнил Виктор.

— Нет. По-моему, тогда 0,5 были.

— Да. — Витя мечтательно посмотрел вверх, вспоминая «тогда».

Проснулся дядя Серёжа в Первой градской, где узнал, что его спас спирт, а жену лжеопята таки забрали. Потом все взрослые передавали эту историю во дворах и на кухнях и пили, пили, во спасение и в оправдание.

— Поганки, — переглянулись мы с Витей и тотчас, как они, побледнели.

— Водка! — напросилось коллективное решение.

Внезапно стало не до неба и радуг. Мы бежали на красный свет в сторону киоска с вывалившиеся из выгоревшей вывески буквой. В «аленькой Одессе» мы взяли противоядие. Два противоядия. И спрятавшись за углом дома, как в детстве, пили тёплую водку из горлышка наперегонки и косились на окна чужих квартир, будто бы за ними стояли родители. Отдышались. Поплевались. Пили дальше. А когда остановились, внешний мир взял и обнял внутренний. Серая зима зазеленела. Луч и ещё один луч прорезались сквозь тучу. От дождя осталось одно напоминание — дрожь на луже от одинокой капли, скатившейся с платанового листа. Повыходили из подъездов женщины. И закружились вокруг нас. Разные, но хорошие, родные женщины. Я представил, как вожу с ними хороводы. Как старюсь с ними в душном коттедже у трассы. Как вымазываюсь мёдом. Как развожу трясогузок...

Виктор вдруг остановился. Многозначительно замер как памятник самому себе. До набережной, до гостиницы, до праздника оставалась несчастная сотня шагов. «Ох и не подвёл суданец», — я всё ещё улыбался, и мне казалось, что моя улыбка растянулась от дома номер восемь до дома номер девять, через весь приморский бульвар.

— Сироткин, я же зашит, — Витя приложил ладонь к шее. Он считал пульс, но выглядел так, будто затыкает кровотокающий укус. Затем он лёг. Лёг и остался лежать, продолжая считать удары.

Незадолго до рассвета меня выпустили из Яффского СИЗО. Мне бывало и прежде мучительно стыдно, я совестливый с детства, но к стыду не привыкнешь. Можно привыкнуть к чему угодно, к любому неудобству, но к утреннему стыду, к стыдливой сутулости, к виноватому шагу — никогда. Почему я ударил полицейского? Почему кричал, что Витька не такой? Почему не отличил искусственное дыхание от похоти? Нет, винить грибы — себя оправдывать. Грибы ни при чём. Грибные мысли, как грибной дождь. Грибной дождь — не ливень, ничего плохого в нём нет, даже если ты на улице и без денег, сигарет и любимой. Но это и не я. Я никого не ненавижу. Я ведь всю жизнь как всё тот же грибной дождь. Есть я на свете — неплохо, нет меня — тоже хорошо. Водка всё... нельзя тёплую водку. Нельзя, как нельзя чужую жену. Карман всё же полегчал. Без сладкой газировки до гостиницы мне не дойти. Через неделю суд. Пускай. Провожу Витьку и сяду. Пересажу до весны. Поработаю, пообдираю плодовые, подкоплю и выйду с тяжёлыми карманами и верну жене долг. Всё отдам. И станет легче. И мне, и куртке. Тяжёлое выбрала ремесло. Поломает её. Как же всё-таки стыдно...

Под занавес ночи, где-то час назад, я открыл глаза и чуть было не расплакался от стыда, вспомнив вечер. Я повернулся к стенке, и пока сокамерники спали по-настоящему, я стал притворяться, что сплю. В самом деле, я лежал, и клял себя, и пытался вспомнить: когда всё пошло не так и с чего у меня в глазах слёзы. Похожие слёзы навернулись однажды в юности. В поликлинике имени Семашко. Я попал на приём к урологу, женщине средних лет. На вешалке висело широченное её пальто. Сама она была округлая и безжалостная, а я ещё верил, что люди, за редким исключением, добрые. «Больно не будет», — обманула она, а когда спросила, есть ли ощущение капли, я ответил: «Да, конечно... в каждом глазу». Вскоре после того посещения я выпил первую свою бутылку портвейна в компании себя на крыше, застланной рубероидом. А надо было слушаться мамы. Надо было сидеть ровно, думал я, а сейчас я сажу лёжа...

Так я мучился под тяжестью вопросов, обращённых к самому себе. Скоро зарозовел потолок, и меня выгнали обратно в город, с повесткой, в тяжёлой куртке и с чужими сигаретами, выданными по ошибке (говорю же, счастливчик). Я попросил у охранника проходной телефон. «Витя жив», — узнал я. С такой новостью намного проще вынести стыд. Его выписали из больницы Вольфсон немногим раньше, чем освободили меня. «Паническая атака, — скажет он мне при встрече, — торпеда пустая, плацебо вшили». Стыд — это пустяк. «Главное, все живы», — так говорила мама, когда мы прибежали побитые соседним двором.

Друга я узнал издали. В непогоду набережная пуста. Да и нет у нас таких светлых людей, что сидят на корточках возле пустой скамьи с козырьком, в шаге от фойе своей гостиницы. Витя покачивается на мысках и, как птица, ловит потоки ветра. Я сажусь рядом, но не могу удержаться, как он. Бриз меня сильнее и валит. Витя передаёт портвейн. «Паническая атака, — говорит он, — торпеда пустая, плацебо вшили». И красиво, далеко-далеко, плюёт.

— Вить!

— А?

— Я помою у тебя в номере голову ещё разок?

Сейчас будет немного розового, потом всё. Солнце достанется тем, кто в самолётах. Тени пальм ложатся на стену гостиницы.

Наби Эркин

Рассказы

Можжевательник (арча)

Жаныбек пытался высвободить разбухший орех из тёмной оболочки. Эндемически — арсланбапский, он упруго держится за кожицу и, как дикая куропатка, готов вылететь из-под пальцев. Орехи росли в горах без нужды нравиться, горчили, но Жаныбек любил их терпкий вкус. Он раскрыл ладони: у бабушки тоже желтели пальцы, когда она снимала почерневшую кожуру. Она её сушила и клала под войлок на пол, а орехи отдавала ему — он их ел с хлебом. Остриём чувского клинка Жаныбек снял кожицу с младенческого тельца ореха, коснулся нижним краем белого мёда и положил его на завиток из тонких струнок каштанового теста. Овал кремовой керамики оттенял текстуру струн и создавал простор. По кругу блюда Жаныбек расставил бледно-зелёные шарики арчового мусса и бережно, по одной, разложил огоньки оранжевой облепихи. Чак-чак назывался «Микадо».

Печеньки «Микадо» были его первым подарком Катрин. Жаныбек не ожидал снова увидеть француженку. Он думал, она пойдёт напрямик под горячий душ и смоеет с памяти прошлую ночь. Вода смывает всё: и мысли, и мигрень. Жаныбек порой ломал ручку в руке, чтобы не проткнуть себе висок. Голова болела из-за долгих коридоров и людей по обе стороны неровных стен между решётками. «Не по чесноку, значит, вор, — говорил Арслан, сын дяди, когда он работал в головном. — Это же игра, охота. Две стороны, если не считать приманок. Мы расставляем, но они-то попадают, те, что играют. Как выбираться — это уже другая игра», — смеялся он. Арслан был младше Жаныбека, но, сын старшего дяди, он часто над ним подшучивал: «Смотришь — идёт солидный такой. А слово скажет — думаешь, что это было? Правильно делаешь, Жаник, что мало говоришь, к простоте тоже привыкнуть нужно, люди думают — сложняк какой-то, и подвох ищут». Арслан недавно вернулся с учёбы в Европе и работал в отделе по внедрению реформ. «А там, в Европе, полиция что, совсем не берёт?» — спросил Жаныбек за обедом в столовой. Арслан рассмеялся: «Там другие правила игры. Надо повыше, чтобы ништячки. А так напряг, чуток вопрос — не порешаешь. У нас — заплати, и всё решаемо. Заплати побольше — и вопросов нет». Отец Арслана называл себя стареющим стратегом, а их — молодой заменой. Дяди недавно не стало — его любимое «наши долго не живут» наступило для него раньше.

Наби Эркин родилась в Кыргызстане, в семье кинодраматурга и философа. Живёт и работает в Европе. Первая публикация в литературном журнале.

Арслан ушёл в бизнес, а Жаныбека перевели в районное отделение — игры были помельче, но шли круглосуточно. «Хороший охотник вызывает зависть, плохой — срывает игру», — вертелись в голове слова дяди.

Жаныбек привык к крикам в кабинете, но редко смотрел в глаза. По глазам он узнавал ментов и в гражданском: взгляд скоростной, по всем этажам и ракурсам одновременно. У «чёрных» такие же — быстрые и отстранённые, играющие, угрожающие. Часто сюда приходят с виной в глазах: она сюда их и приводит, они заранее жертвы. У кого злость, накопленная так, что не соскребёшь; сломленность, подвешенная за плечами, за тучными телами — тоже не спрячешь. У француженки был непривычный взгляд — в её глазах не было страха: серые и бездонные, они обдавали холодом, но ему доверяли. Она будто не видела своей разорванной рубашки, расцарапанных спины и рук. Она села на стул и неторопливо осмотрела помещение. «Я — это империя. Конец. Декаданс», — сказала она вдруг, когда они остались одни. Жаныбек посмотрел на неё внимательно. «Это французский поэт — Поль Верлен называется. Ты знаешь?» — спросила она. Он не ответил, но обвёл взглядом рабочее место. Грязные стены, скрипучий пол, железные брусья на дверях, замки, сейф, стол. Ему хотелось, чтобы француженка не дотрагивалась до обшарпанной поверхности его стола, но она всё время касалась его ладонями, будто чувствовала в дереве опору.

Жаныбек заполнил бумаги и допросил таксиста. Паренёк, привыкший объяснять каждое своё движение, ёжился и поглядывал на тёмную форточку. Жаныбек посмотрел на француженку: могла бы договориться на месте и уехать, но она отказалась. «Да, блин, на пару часов, сказала. Откуда я знал, что она поедет напиваться. На вид нормальная. Вернулась вон какая. Может, подралась с кем, гляньте на неё. И стукнула мне машину, пусть возмещает дверь». Её остановили там, где останавливают проезжающих на жёлтый свет. Удачно: иностранка, за рулём чужой машины, вся в царапинах, да ещё и нетрезвая. И заявление таксиста. Преступление налицо. Та говорила, что не пила и дверь не била. «Вопросов много, — сказал Айбек, войдя в кабинет. — Зачем села за руль чужой машины? Без документов. В нетрезвом состоянии». «Экспертиза показывает, что не было опьянения», — сказал Жаныбек. «А посмотри на время освидетельствования. Пока доехали, пока очередь. Она мне лично дышала в нос. Сложно, всё сложно, мадам», — сказал Айбек, обращаясь к француженке.

Айбек, его напарник, любил свою работу. В его смеющихся глазах играла злоба, и если что шло не так, он «шёл на принципа» — с таким же наслаждением, с каким разделяют тушу забитого зверя. Власть он сравнивал с мясом: обглодки или «почётный жилик»¹. «Есть у тебя мечта?» — спросил он как-то Жаныбека. Жаныбек пожал плечами. «Вот. Это проблема. Жениться пора. Появится тогда. Своей раз нет, будет жёнина. Есть ради чего жить», — шутил он. «А какая у тебя?» — спросил Жаныбек. «А у меня всё просто: иду такой на той² к депутатам, все “Ассалам алейкум”, встречают, здороваются, уважительно усаживают за первый стол. И все такие смотрят, вот, мол, сын Асанбая, вышел в люди. Картинка, а считай, жизнь удалась», — он был доволен своей мечтой.

¹ Жилик — кость разделанной туши скота подаётся почётному гостю (кырг.).

² Той — пиршество, празднество (кырг.).

Когда все ушли, Жаныбек взял покрывало со спинки своего стула, постелил на скамью у стены. Она наблюдала за его неспешными хлопотами. «Зачем вам понадобилась машина таксиста?» — спросил Жаныбек. «Хотела покататься по городу». Она ему показалась старой знакомой, её тепло казалось их общим. «Можете поспать пока», — кивнул он. Жаныбек раньше не слышал, как шумно бывает в отделении по ночам. Утром она сказала, что спала хорошо.

Её звали Катрин. Она стояла напротив, свежая и улыбающаяся, протягивая пачку печенья. Её палочки «Микадо» показались Жаныбеку соломинкой помощи. Он неуклюже, боясь спугнуть своим крупным телом, нагнулся над ней, чтоб взять печенье, а она отдернула руку вверх — он замер, не зная, как реагировать на ребячество. Её большие серые глаза смеялись, и, несмотря на мальчишество её короткой стрижки, она казалась хрупкой и крепкой одновременно. Цветной сарафан не сочетался с ботинками для гор, но её глаза смотрели так прямо, что веки казались ровной линией. Невысокая и устойчивая: под её ногами, казалось, растут корни. Катрин сказала: «Это не печенье. Это игра. Придешь ко мне играть? Может, выиграешь». Она развернулась и помахала коробочкой: «Сегодня в шесть. Адрес ты знаешь», — и кивнула в сторону сейфа. Она ушла, так и не отдав печенье.

Катрин накрыла необычный стол. На белоснежной скатерти с тяжёлыми приборами Жаныбек увидел тонкие тарелки и бокалы, искрящиеся от капелек из люстры. Она несла ему из кухни блюдо за блюдом, Жаныбек не понимал, что он ест, — он распознавал лишь цвета и ощущал себя ребёнком, который не может спросить — из чего оно, молоко. Тёплые кремовые ощущения сменялись хрустом тонких зернистых слоёв, вновь возвращалась сливочная густота и пропадала под вкусом цитрусовых; травяные запахи разбавлялись в плотной текстуре вина, которые под танец свечей рассказали ему о близком и далёком, но гораздо больше о нём самом. «Я же говорила, что я повар. Так здорово, что снова хочется готовить», — засмеялась Катрин, раскачивая волны вина в бокале. Когда они доели микадо, она попросила сходить с ней завтра на Ошский рынок. «Рядом с милиционером мне не будет страшно, — сказала она смеясь. — И я не пропущу свой самолёт. Оставайся здесь. Я постелю тебе на стульях», — сказала со смешинкой в глазах.

«Па-шо», — сказала Катрин о завтраке с яйцом и снова сказала, что спала хорошо. «А ты что, обычно не спишь?» — спросил Жаныбек. «Обычно нет», — засмеялась Катрин. Квартира её знакомой, в которой она остановилась в её отсутствие, была между двумя центральными улицами Бишкека — Московской и Киевской. Жаныбек предложил пойти на базар пешком. С ней город казался другим — он был зеленее, но и беспомощнее: Жаныбек словно впервые увидел разломы в тротуарах, трещины на асфальте, пустые арыки, дряблость троллейбусов. На рынке Катрин металась от одежды до электроприборов, от DVD до тазиков, пока не оказалась в рядах со специями. Как шаманка в плясе, она кружилась в дробном ритме тмина, чёрного перца, кунжута и райхона. «Ваш базар не такой, как в Марокко или в Турции. Я хочу платье цвета вашего базара. Разноцветное, но не пёстрое», — сказала она. — Во Франции всё привязано к регионам, сертификат, — Катрин показала пальцами квадрат. — Бургундское вино, гренобльский орех, улитки Перигорда». «У нас тоже есть Иссук-кульский апорт, — Жаныбек указал на фруктовый ряд. — И узгенский рис. Но сертификата нет, — Жаныбек взял в руки горсть риса. — Мы и без сертификатов

знаем», — засмеялся он. Катрин посмотрела на красноватую пыль на раскрытой ладони и там же, возле мешка с рисом, спросила: «Ты поедешь со мной в Японию?» Катрин получила приглашение работать во французском ресторане в Киото. Она бы улетела в то утро, если бы не ночь в отделении милиции.

* * *

Разводы на гладкой поверхности абрикосового дерева перекликались с полосками сафрана и линиями красноватых рисинок. Фиалка будоражила дерево и освежала теплую терракоту плова. У узгенского риса благородная стать и плотное тело. Рядом горячий чай, по-южному крепкий, в пиале на один глоток. Меню завершали кристаллики черничного навата на муссе из сладких приозёрных роз.

«Блюдо — часть трапезы», — говорил Танака-сан, забирал у него посуду и медленно мыл её сам. Время превращалось в картину, вода текла по каплям. Его жесты были чёткими, движения — отточенными. Он резал рыбу бесстрастно и мастерски, клал безупречную полоску филе на шероховатую поверхность прямоугольного блюда. Его руки перекладывали филе с нежностью, с какой достают ребёнка после родов. Во время послеобеденного перерыва он садился на крыльцо своего ресторанчика с чашкой сенча в неровной керамике. Неторопливо допивая зелёный чай, он подолгу разглядывал чашку на фоне солнца из-под краснеющей липы. Жаныбек садился неподалёку и смотрел на тихий ритуал шефа. «Хорошие чашки несут в себе нежность женских грудей, — шутил Танака-сан. — Тогда и еда будет казаться молоком матери».

Жаныбек подрабатывал посудомойщиком у Танака-сан, в выходной день помогал старому сенсею преподавать дзюдо в подвале небольшого жилого дома, увешанном проводами. Если бы дзюдо было языком, Жаныбек им владел бы свободно. В первый год он ходил на курсы японского два раза в неделю и на курсы французского остальные три. Катрин уходила до рассвета и возвращалась за полночь. В выходной день она просыпалась уставшей, но это был «наш день». Они ходили по узким улочкам Киото в осени из всех цветов. Они шли на зов сямисен и оказывались у низеньких дверей с обрезанными занавесками. В храмах Катрин пыталась следовать ритуалам. «Что ты всё время пишешь?» — спросил Жаныбек. «Я пишу “спасибо”. “Спасибо, спасибо, спасибо”. — И прижималась к нему крепко. — Мне кажется, здесь нас слышат». «Ты так и не сказала, зачем взяла машину таксиста и как порвала одежду», — сказал Жаныбек. «Опять вспомнил. Не сейчас, — смеялась Катрин. — Но расскажу. Когда-нибудь», — снова засмеялась она. «Ну и ладно, — махнул руками Жаныбек. — Напиши “Спасибо, таксист!” Мог и не дать машину ведь», — Жаныбек соединил обе ладони в дружеском жесте в сторону неба.

«Знаешь, сегодня двадцать шесть градусов тепла», — сказала Катрин. Жаныбек шёл, вглядываясь в зелёный мох на зигзагах елей, по аллеям вокруг Золотого храма. «Это моя любимая температура воздуха», — сказала Катрин. Впереди люди, сбившись в кучу, бросали монетки через перегородку. Жаныбек пригляделся — в центре монет стояла маленькая металлическая жаба. Все бросали, целясь, но не попадали. Жаныбек вытащил однойеновую монетку из кармана и протянул Катрин — та бросила не раздумывая, и раздался звонкий удар по жабе. Люди вокруг захлопали. Пожилая пара европейцев сказала Катрин: «Поздравляем». «С чем?» — удивилась Катрин. «Это волшебная жаба, японцы приезжают отовсюду, особенно те, у кого не получается

иметь детей». Катрин отвернулась. Она не хотела детей. Это было её единственным условием перед браком. Она выросла без мамы. Папа баловал, как мог, и перенёс свой врачебный кабинет в дом. Он был спортивным врачом. Они с папой любили садовничать между его приёмами. Катрин была из Нормандии: «У нас самые вкусные яблоки, — говорила Катрин. — Тебе там понравится». Катрин собирала яблоки, а папа готовил пироги, но они были другие, не такие, как у мамы. «Дети не должны расти без мамы». — На её глаза наворачивались слёзы. Она боялась, что может унаследовать болезнь, унёсшую маму так рано. Жаныбек легко согласился на её условие. Катрин приехала в Кыргызстан, так как её папа очень хотел, чтобы она там побывала. Аннапурла, Манаслу, Хан-Тенгри: отец говорил, что мир стал похож, даже люди, только горы остаются разными. «Там пока и люди другие, — говорил он, — не только горы». Отец всегда находил для неё вкус к жизни, и когда его не стало, Катрин вкус потеряла.

Жаныбек казался слишком большим для домов и улиц, он хотел, чтобы на него не обращали внимания, проходили мимо, не заговаривали и не ругались. Японцы были похожи на кыргызов. Особенно старики. Те же жесты, те же глаза, только слова другие. Он понимал по интонациям, что его снова отчитывают. Катрин смеялась над ним: к нему применялись японские нормы. «У вас было бы так же», — сказала она. «Да нет, у нас нет столько “надо-нужно” и “нельзя”. Даже в очередь вставать надо по правилам». «Тебе так кажется, попробуй не проявить уважение к конской колбасе или сделать вегетарианский бешбармак», — смеялась она.

«А французы похожи на тебя?» — спросил Жаныбек. Они шли по оживлённой улице за двумя японками в кимоно. «А какая я?» — удивилась Катрин. «Настоящая. Тебе не нужно улыбаться, чтоб понравиться. Тебе не важно нравиться. Наверное, никто не напрягал тебя в детстве? — Они встали за японками в очередь. — А у японцев, знаешь же, да, не поклонись — могли снести голову? И люди чёткие. А у нас головы не сносят, но стыдят. Ни туда, ни сюда. Чем больше хочешь нравиться, тем меньше любят — никто не любит фальшь». Он почувствовал в руках тепло ладоней Катрин. «Что продают-то, хоть знаешь?» — Катрин прыснула со смеху. «Купим, разберёмся. Зелёное что-то. Бисквит, кажется. Разрезают и в коробку кладут», — Жаныбек вытянул шею, чтоб увидеть витрину магазинчика. «Не знаю, все ли французы неулыбчивые, как я, — она засмеялась. — Но есть, наверное, общее. Везде свой код. И мир гармоничен, — подходила их очередь. — Смотри, как упаковывает, какая точность движений. Смотри, как в бумагу заворачивает. Одни создают хаос, другие ищут совершенство даже в такой мелочи. Это про меня. Кухня — самый лёгкий способ контроля хаоса, я и начала готовить, чтоб сузить свой мир. На кухне он не такой большой и тревожный. Всё тебе подвластно. Свой порядок». Жаныбек тоже искал порядок. В милиции он хотел именно этого — охранять порядок.

— На курсах французского часто говорят: «Мои ценности — твои ценности». И деньги ценность, и культура ценность, и порядок — тоже ценность.

— Мне кажется, ценно всегда то, чего мало, — сказала Катрин, откусывая кусок коричневого пирожного с зелёной глазурью. — В хаосе, получается, ценен порядок.

— Тогда бы порядок ценили больше всего у нас в милиции, — засмеялся Жаныбек.

— У вас там порядок поставили как стену в лесу. Ценности, мне кажется, должны расти изнутри, как дерево из своей почвы. Тогда понимаешь, на чём плыть по течению, лучше построить свой плот из этих брёвен и выгребать на них, как можешь.

Джасур Исхаков

Два рассказа

Восьмой раунд с Робертом Тейлором

Увядающая августовская жара в тот день словно огрызнулась напоследок — весь день невыносимо палило, будто за окном стояло начало июля, солнце плавало асфальт, все водоёмы были переполнены детьми, взрослые сидели на гранитных парапетах городских фонтанов, опустив ноги в воду.

Я позвонил другу, и мы договорились ближе к вечеру встретиться в парке попить пивка. В предвкушении вечерней прохлады я мысленно пил холодное, кисловатое пиво, чувствовал вкус курта¹ и представлял, о чём мы будем болтать с Бобом, наслаждаясь запахом политой земли и дымком шашлыка.

Только я положил трубку, как зазвонил телефон.

— Алло, можно Джавада Ориповича?

— Это я... Здравствуйте, Лариса Владимировна, я вас узнал...

Голос Ларисы Воротниковой, а вернее, её интонации, трудно было спутать с кем-то, она всегда говорила так, словно плакала, даже когда смеялась. То, что она назвала меня по имени-отчеству, насторожило, обычно она называла меня просто Джавад.

— Ой, Джавочка! Как хорошо, что я застала тебя! — с радостным плачем закричала она в трубку.

Переход к «Джавочке» насторожил ещё больше: так называли меня самые близкие друзья. Другим я не разрешал — не любил фамильярность.

— Я вас слушаю, Лариса Владимировна... — произнёс я, интуитивно понимая, что пить пиво сегодня не придётся.

— Джавочка, выручай!

Лариса Владимировна работала директором БПСК — Бюро пропаганды советского кино. Знакомство с ней было очень полезно: можно запросто попасть на закрытые

Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. Сценарист, драматург, кинорежиссёр. Автор рассказов и стихов, по его сценариям снято более тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Лауреат Международного конкурса сценариев стран Центральной Азии и Республики Корея. Живёт в Ташкенте. Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 6.

¹ Курт — закуска — сухой солёный шарик из творога (*тюрк.*).

просмотры заграничных фильмов и на лекции киноведов из Москвы и Ленинграда. В те времена ещё не было видео, а по телевизору показывали чаще всего скучные фильмы. И присутствие на этих «информационных» просмотрах было своеобразным знаком, отличающим вас от простых смертных, некоей приобщённостью к тайне. В такие дни в старом Доме Кино ломались двери под напором желающих посмотреть привезённый боевик, зрители сидели на ступеньках в проходах переполненного зала, залезая даже на сцену. А добрая Лариса Владимировна всегда давала мне билетик на двоих, даже до того, как я стал носить в кармане заветную красную книжку члена Союза кинематографистов.

— Понимаешь, у нас катастрофа! — Лариса по-настоящему всхлипнула. — Разлогин заболел, а все билеты уже проданы! Джурабаев на семинаре, а Ханжару не могу поймать... Одна надежда на тебя, Джавочка! Всего три лекции... Только не отказывайся!

— Ну, какой из меня лектор, Лариса Владимировна... — по-настоящему смутился я, и холодок пробежал меж лопаток. Я выступал всего один раз в интернате для слабослышащих детей, и даже там у меня от волнения дрожали колени и язык прилипал к нёбу. Я живо представил ухмылки наших завсегдаев «информационных» просмотров, и от одного этого трубка в моей руке стала мокрой. — Нет, я не смогу, — как можно твёрже произнёс я.

— Да сможешь, сможешь! — плачущим голосом воскликнула она и, словно прочитав мои мысли, быстро добавила: — Это ведь не в Ташкенте лекции, а в Самарканде! Джавочка, я тебя прошу! Денежки заработаешь, я тебе по высшей ставке заплачу — по семнадцать пятьдесят за лекцию, плюс синхронный перевод по восемь, итого, семьдесят шесть пятьдесят. Ещё суточные по три рубля... А они там тебя кормить будут...

Восемьдесят пять рублей за три дня — в те времена это были неплохие деньги, и моё принципиальное «не смогу» стало как-то таять.

— А что за лекции? — неуверенно спросил я, стыдясь скорости своего падения.

— Да ерунда на постном масле! — почувствовав перемену в моём тоне, более бодрым голосом проплакала Лариса Владимировна. — Для тебя раз плюнуть! Ты же в Москве учился! Там основной фильм, который надо переводить, — «Восьмой раунд» с Робертом Тейлором в главной роли, видел?

— Нет... — сказал я, мысленно прикидывая, куда можно будет потратить гонорар.

— И два отрывка по две части, это уже дублированные картины... «Большие гонки» и «Воздушные приключения».

— Как же я буду переводить этот?..

— «Восьмой раунд»? — торопливо перебила меня Лариса. — Господи, Джава, ты как будто только что родился! Не надо тебе ничего переводить, будешь читать по монтажным листам... А тема лекции — «Этот жестокий мир буржуазного спорта», понимаешь? Все билеты проданы! Джавочка, ты наш годовой план вытянешь!

«Хитрец лукавый этот Разлогин, такое название придумал!» — подумал я. Все эти идеологические примочки зритель давно раскусил, но шёл на ругательное слово «буржуазный», дабы своими глазами, с удовольствием, увидеть загнивание этого самого мира капитализма.

— Там летний зал, в парке, две с половиной тысячи зрителей! — поняв, что я согласен, сказала Лариса Владимировна. — Ну, уговорила?

Зря, опрометчиво сообщила Лариса Владимировна про количество зрителей. Я представил этот огромный переполненный зал и себя, одиноко стоящего на сцене

перед двумя с половиной тысячами незнакомых людей, и страх предательски занял где-то в животе.

— Нет, — сказал я виновато. — Я не смогу... Извините, Лариса Владимировна.

Положил трубку и почувствовал на спине взгляд жены, которая полоскала простынки нашего первенца.

— Работу предлагают, лекции почитать... В Самарканде...

— А за сколько? — заинтересованно спросила жена.

— Рублей за восемьдесят, — небрежно ответил я. — Но я отказался...

Жена бросила пелёнки в тазик. Мыльные брызги плеснули мне в лицо. В другой раз я бы возмутился, но сейчас даже не обратил на это внимания, просто утёрся. Ещё ничего не сказав, жена была тысячу раз права.

— Ну конечно, лучше попить с друзьями пива с водкой, завтра болеть... А в холодильнике, между прочим, пусто... — сказала она тихо и почти не зло. — К тому же, надо купить коляску... Я видела в комиссионке, хорошая, всего за пятнадцать рублей... Без коляски плохо...

Три дня назад какая-то сволочь утащила прямо из подъезда замечательную немецкую коляску серебристого цвета. Нам её по большому блату достали в Детском мире, за семьдесят рублей.

Эта коляска стала последним ударом, разбудившим мою совесть, а бэушная коляска переборола мои страхи, и я позвонил Ларисе Владимировне.

— Знаете, я передумал, я поеду в Самарканд...

— Джавочка, ты просто золото! — по-настоящему заплакала женщина.

— Но хотелось бы посмотреть фильм заранее...

— Какой фильм? Поезд через час! Я за тобой заеду, и прямо на вокзал... Собирайся!

Я хотел было что-то спросить, но в трубке заняли частые гудки отбоя. Лариса Владимировна решила не испытывать неустойчивую натуру моего характера.

Через час я уже взбирался в плацкартный вагон поезда Ташкент—Самарканд с двумя тяжеленными яфами — проржавевшими жестяными банками с фильмами.

— Не беспокойся, там тебя встретят, устроят в гостиницу... Вот, здесь монтажные листы и брошюрка... Пригодится.

Она протянула потрёпанную картонную папку.

— Ты — наш спаситель, — всхлипнула она.

Лязгнули вагонные сцепки, поезд тронулся.

— Пройдите в вагон, — строго сказал усатый проводник, поднимаясь по металлическим ступенькам.

Боковым зрением я заметил, как Лариса Владимировна смахнула со щеки слезу и мелким незаметным движением перекрестила меня. Для тех времён это было равносильно преступлению, тем более что Лариса Владимировна была членом партии.

Поезд тронулся, набирая скорость.

Я шёл, качаясь, по вагону к своему месту, и гордость переполняла меня. Потому что я чувствовал себя ратником, воином, идущим на подвиг.

Проплывали мимо убогие пригородные домики, водокачки, заборы из кроватных спинок, мусорные свалки.

Я сидел за столиком и перелистывал монтажные листы американского боевика «Восьмой раунд», который был снят аж в 1952 году. Машинописные буквы, видимо,

пятого экземпляра расплывались на серой шершавой бумаге. Углы от многоцветных перелистываний слюнявыми пальцами были тёмными и блестящими. Из реплик для меня стал понятен сюжет фильма. Бедный мальчик с окраины Бруклина, как сейчас бы сказали, из неблагополучной семьи (папа умер в тюрьме, мама — беспробудная пьяница) непрерывно подвергается издевательствам и побоям местных хулиганов. Однажды Томми (так звали героя фильма) встречается с человеком, который приводит его в боксёрский зал, где мальчик под руководством тренера начинает упорно заниматься боксом. У Томми обнаруживается спортивный талант, и через некоторое время местные хулиганы уже стараются обойти стороной Тома, потому что он может набить морду любому. На одном из соревнований Томми замечает босс из солидного клуба и приглашает перспективного мальчугана к себе. Томми взрослеет и одерживает одну победу за другой. Появляются деньги, и юный боксёр переезжает со своей излечившейся от алкоголизма матерью из бруклинской каморки в приличную квартиру. Карьера боксёра так головокружительна, что вскоре он становится равным в среде известных музыкантов, актёров и богатых людей...

Я успел дочитать монтажные листы до этого важного момента в жизни Томми, когда меня окликнул проводник. Он сунул в руки охапку сырого белья и указал мне на верхнюю боковую полку. Вскоре в вагоне стало темно, и только лампы под потолком светились неверным фиолетовым светом.

Самарканд встретил утренней прохладой, запахом лепёшек и угольного дыма. Водитель из кинофикации, Акрам, самолично донёс яффы с фильмами до машины. Старенький ГАЗ-69, прозванный в народе «козлом» за излишнюю прыгучесть на колдобинах, с гордой надписью на помятой двери «КИНО», завёлся с третьего раза, и мы поехали по пустынным ещё улицам древнего города. Акрам был большим патриотом и, как заправский гид, рассказывал на ходу о памятниках, мимо которых мы ехали, пересказывал мелодраматические легенды о казнённых зодчих и несколько раз с гордостью добавлял, что Самарканд — ровесник Рима. На одном из перекрёстков машина заглохла. Акрам, чертыхаясь, вытащил заводную ручку.

Я вышел из машины и остолбенел. На заборе красовалась гуашевая афиша, в которой сообщалось о лекции на тему — «Этот жестокий мир буржуазного спорта». Перечислялись отрывки из фильмов и отдельно: «Захватывающий боевик “Восьмой раунд” о знаменитом боксёре с участием выдающегося актёра Роберта Тейлора». Но меня поразило не это. Внизу, выведенная огромными буквами, красовалась моя фамилия! Сквозь гуашевые разводы можно было различить полусмытую надпись «К.Разлогин». Но верхняя часть осталась прежней: «Лектор — доктор искусствоведческих наук, профессор, г. Москва»... И моя фамилия! Я переживал смешанное чувство. «Какой я, к чёрту, профессор, тем более из Москвы?» — думал я, но, с другой стороны, приятная волна тщеславия пробилась сквозь стыд. Я стоял как дурак перед афишей и даже не услышал, что завелась наша колымага. Акрам подошёл ко мне и, положив по-свойски ладонь на плечо, сказал гордо:

— Мы таких афиш девять штук по городу развесили! Красиво, а?

В одной фразе он умудрился использовать таджикский, узбекский и русский языки одновременно.

Я промолчал, мы сели в машину и поехали устраиваться в гостиницу.

Старомодный номер мне понравился сразу. Высокие фанерные потолки, домашние занавески на окнах, горячая вода в душе, пружинная металлическая

Геннадий Кацов

Есть жизнь и за пределами фейсбука

* * *

неумолчное в паре с молчанием
долго прячется с воем в груди —
бытие управляет сознанием,
но об этом не предупредив,

тайна мира хранится в скворечнике,
там же ключ, в нём простой желобок:
сотни лет не хватает у вечности,
чтоб к нему подобрали замок

птица годы скользит по касательной
к переносице, крылья раскрыв:
где отыщешь такого писателя,
кто бы суть сей забавы раскрыл

берег каждой навеян песчинкою,
и, присев у него на краю,
чайка клювом в волне что-то чиркает —
что-то пишет тебе гамаюн

* * *

мир, данный в ощущениях, плоский,
на ощупь, как звериный лаз:
моим гуру был заболоцкий,
ведь за болотом — глаз да глаз

меня учили понемногу
гомер, флобер и карамзин:
по жизни шёл, сводило ногу,
едва хватало на бензин

Кацов Геннадий — поэт, прозаик, журналист. Родился в 1956 году в Евпатории. Окончил кораблестроительный институт в г. Николаеве. В 1980-е — участник московской литературной группы «Эпсилон-салон», один из основателей клуба «Поэзия». В 1989 г. эмигрировал в США. Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Словосфера» (Н.-Й., 2013), «365 дней вокруг солнца» (Н.-Й., 2014) и др. Составитель поэтической антологии «НАШКРЫМ» (Н.-Й., 2014). Живёт в Нью-Йорке.

«срок жизненный — ничуть не малый,
хоть не скуришь всех папирос!» —
своим делился вуди аллен,
в общении за ланчем прост

бывал я в молодости умным,
но позже ум порастерял —
как говорила турман ума:
«в ногах нет правды для стремян!»

нередко интеллектуально
иных я не превосходил:
«путь к людям нас уводит в спальню», —
билл гейтс, и тот с ума сходил

и, существуя в мире истин,
я выносил соседям мозг —
так подсказал мне охлобыстин,
когда я пёр, как паровоз

я был красив, по мнению многих,
играл в нью-йоркское лото:
«ты, как твой дядя, правил строгих», —
припоминал сам жан кокто

«скажи-ка, дядя, ведь не “даром”
набоковским одним ты жил?» —
и честный дядя, взяв гитару,
её о стену размозжил

* * *

есть жизнь и за пределами фейсбука,
а значит, смерть за лайком не видна —
кто скорость тьмы менял на скорость звука,
по месту подогнав костюм из бука,
тот знает, в чём успех сего кина

из греции мигранты прут в колхиду,
в ливане ливни, в грузии грызня...
я здесь живу, не подавая виду,
но, если откровенно, не в обиду:
будь моя воля — не прожил бы дня

и лошадь мчит, и сигарета длится,
и дело, судя по всему, табак,
да, и куда верёвочке не виться?!

нью-йорк разрушен, всюду за граница:
тьма тринидадов и полно тобаг

к лицу — проходим в масках на котурнах,
коль в третьем акте выстрелит в висках!
от жертвы мировой литературы
читательский привет: все анны дуры,
все львы, свалив, скрываются в песках

пора открытие мне сделать, то есть
открыть в ближайший космос чудо-дверь,
войти, неся свою земную повесть,
и вслух, пока подсказывает совесть,
сказать там станиславскому: «не верь!»

* * *

там ангел за спиной, здесь хиппи в толстом теле
и мёртвая вода, в которой дальше плыть:
прошедшее не зря сегодня мягко стелет —
в нём всё выдавший свет, он полон, как полынь

там у амура лук слезоточив и репчат,
и от москвы стрела летит на ленинград,
а фото чем старей, тем закрепитель крепче,
как надпись на стене подъезда «сам дурак»

там столько лет прошло, что время — постоянно,
да чёрно-белых дней, что клавиш череда,
где инь бемоль с утра звучит в диэзе яном
и пианист за фугу родину продаст

там к центру долгий путь в неведомых дорожках,
у всех ларьков полно невиданных зверей:
любой из них нагим рождён был и хорошим,
и добрым и нагим рождён был умереть

там то, что не сбылось, то и не жаль оставить,
и прожито всё так, как предсказал сурок,
а если в трёх словах, то — рикки-тикки-тави,
а если в нотах двух — то в духе симфо-рок

* * *

всё приходит... пять-шесть тысяч лет погода
океанской волной мир накроет —
и наступят столетия мегадождя,
что, бесспорно, тоскливо для хроник

и земля (где-то так же писалось?!) пуста
будет внешнему взгляду, безвидна,
хоть, с другой стороны, никого не оста-
лось из тех, победивших ковиды

вновь какой-то ной-штрих рассекает простор
на простом безразмерном ковчеге:
глаз, как птичью ловушку, растянет свой взор,
ухо ловит в глуши птичий щебет

и вернётся запущенный в небо щегол
(в прошлой версии — голубь) с вербеной —
значит, ныне потоп сократился на пол,
даже если на треть — офигенно!

значит, где-то есть суша, а там — интернет,
что возможно; и связь без сюрпризов!
всё проходит... и ветхий листаешь завет,
словно будет ещё он написан

Дмитрий Райц

МОМЕНТЫ УСТАЛОСТИ И ЛЮБВИ

короткие истории

*

В три часа ночи все согласились, что Ворошилов опять победил.

Сгребая карты, Андрей умолял нас валить. Настя, зевая, сказала, что была рада всех видеть, — а Ворошилов везучий ублюдок, — и да, она согласна с Андреем — пора нам валить. Захватим коробки от пиццы? Только ради Андрея.

Мы устало смеёмся, уже и без шуток.

Пока мы играли, кажется, прошёл дождь. Вдоль дороги ползут фонари в окружении влажных листьев. Таксист Самандар с телефона слушает песню на чужом языке.

Самандар, мы мчимся по огромному круглому камню, летящему в темноте. Если Земля вращается нам навстречу, мы едем, стоим на месте или нас вообще нет? Римский официант, который путал гулаг и гуляш, никогда не подумает, что мы, молодые, забавные, сидим за настольными играми и болтаем весёлые лёгкие вещи вместо того, чтобы спать. Представь, Самандар, если бы мы проезжали не улицу семьи Шамшиных, а место, где две тысячи лет назад зарезали Цезаря. Пройдёт ночь, пройдёт смерть и две тысячи лет, пройдёт Земля. Листья высохнут, сгорят бесконечные фонари, мёртвый город рассыпется, будет только песчаная буря и обезумевшие слоны, Солнце станет красным гигантом, расплавит Землю, и не останется памяти о Риме и обо мне. Самандар — красивое имя. Что оно значит? Океан.

*

Левик сказал: «Наши внуки запомнят, как мы провели это лето». Серёжа вытащил пакет с ранетками из рюкзака. На пути в школу они сделали крюк, чтобы пройти мимо коробки, где всё лето играли в футбол. Пустынное поле застыло в синеватой тени. Они увидели Валю, он курил возле штанги.

Валя обычно играет в команде с угрюмыми близнецами. Все трое постарше. Близнецы лупят мяч так, что страшно ловить. За воротами в сетке дыра, и близнецы

Райц Дмитрий Владимирович (1990) родился и живёт в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Автор книги «Случаи с англичанами» (2020). Печатался в журналах «Сибирские огни», «Дружба народов», «Урал».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 4.

попадают по какой-нибудь бабке. Не стесняются бить по ногам. Про них говорят, что они на учёте. Валя ведёт неторопливо, скорее идёт, чем бежит. Как будто ленивый замах, и вдруг он кружится, скачет, обводит, кеды и мяч шаркают по мелким камешкам, на которые больно падать. Валя любит финты, он умеет пяткой перекидывать мяч через себя. Ещё он любит обыграть вратаря и вкатить в пустые ворота. Если Валя теряет мяч, он ругается: «Добаный в рот». Финтить Левик умеет не хуже, но делает проще. Проброс, рывок, скорость, удар в нижний угол. Близнецы не успевают, поднимается пыль, они как быки, играющие в футбол. Серёжа подумал, что угрюмые близнецы опять не будут здороваться в школе.

Валя набрал из пакета ранеток. Он был, как и летом, в синих шортах и белой футболке, похожий на Харри Кейна. Валя спросил, придут ли парни сегодня. Завтра литература, нужно читать сраного Гоголя. Валя усмехнулся, сказал, что в галстуках они смотрятся тупо.

Вчера перед сном Серёжа заплакал, сосчитав, что до нового лета ещё двести семьдесят дней.

*

Работница загса провела в кабинет парня в серых спортивных штанах.

Ему свидетельство о мёртворождении. Чтоб никто не смел возмущаться.

Парень вышел и сел на пустую скамейку. Он казался немного растерянным, но не выглядел так, что беда, что он вязнет в кошмаре и не знает, как выбраться. Парень положил свидетельство рядом с собой, согнулся, чтоб завязать шнурок.

Ему позвонили. Он ответил и начал кричать.

Вписали только фамилию, вместо имени — прочерк.

*

Из кабинета начальника он переносит вещи обратно. Он возвращает на свой старый стол ежедневник, дырокол и вращающуюся подставку для ручек.

Когда он выходит, мы молчим, не переглядываемся, лишь улыбаемся не по-доброму. Он ставит на стол кружку с надписью *It's coffee time*. Я представляю, как, приехав в Новосибирск, в первый же вечер он идёт в магазин, чтобы купить на работу кружку, и выбирает эту — *It's coffee time*.

Пожарный выход в конце коридора открыт, приятный сквозняк. Что-то не так с его голосом. Говорит, что немного расстроен. Зато не будет сидеть допоздна. Стыдно немного. Заметив меня, он идёт на пожарную лестницу. Чёрт бы побрал Москву и её дурацкие аттестации.

Ветровку он вешает в шкаф, под стол прячет летние туфли. Мы стоим у окна. Он встаёт рядом с нами. По разделительной полосе Ипподромской опять гуляет бродяга с пакетом.

*

В сквере за цирком они раскурили косяк и пошли по дворам, кажется, в сторону центра.

Один с бородой, другой — просто небритый.

Они говорят о группе *The Doors*, футболе, полиции и динозаврах.

Стихает шум от дороги. Бледные лампы горят над подъездами.

Они говорят об архитектуре, грибах, здоровье и женщинах.

Один пьёт пиво, другой — воду без газа.

Они вышли к тусклой витрине музея и увидели кость бронтозавра, трилобитов, моллюска, велоцираптора, какую-то древнюю злобную рыбу.

*

После станции Обь он не мог больше ждать и встал с чемоданом в тамбуре. Поезд летел над великой рекой. Включив песню Waterloo Sunset, он решил, что это лучший вечер в его жизни. Сумерки дёрнулись, и потянулась празднично яркая глыба вокзала. Он прижался к двери — она стояла на тёмном перроне в лёгкой кожаной курточке, телефон освещал её лицо, глаза улыбались.

Они заказали бутылку вина. На столиках летних веранд горят свечи. Кутаясь в плед и смеясь, она говорит, что он пахнет шпалой. Он не может не улыбаться. Центр гудит от музыки и голосов.

Хочется пить с ней вино без конца здесь, на летней веранде, слушать и говорить. Хочется пойти побыстрее домой и не терпеть ни минуты. Хочется проснуться вместе и поскорей варить кофе. Хочется посвятить выходные только приятным делам.

Чемодан на колёсах стоит у стола — там все его вещи. Он ещё не говорил, но больше он не уедет. Огонь от свечей блестит на застёжках. Ночные осенние люди, кажется, счастливы.

*

В Академгородке он никогда не был несчастлив. И сегодня всё прошло спокойно и радостно.

На Золото долинской он остановился. Уже вечер, тонкие облака как красная акварель. Гигантские ели уносятся вверх. Коттедж какого-то академика. Может, того, который одомашнивал лис? Живая изгородь, тяжёлые треугольники елей, трава, низкий заборчик, густые ровные линии берёзовых листьев — всё это разный зелёный. Дача из детства. Запах рая, старые доски, прохлада земли. Чужая жизнь, которую хочется, но невозможно. Он слушает восьмую симфонию Малера. Вокруг Бог.

*

В первый раз за два года мы выходим из дома вдвоём. Жена берёт меня под руку, и мы быстро идём. Мышонок уснул, мама за ним присмотрит. Какой у нас план?

Хочется снова есть пищу с вином, планировать путешествие, смотреть в кино несколько фильмов подряд, заходить в ночной парк — так дольше, но романтичнее, — засыпать в такси по дороге домой. У нас есть пара часов. Неужели всё это было с нами? Я скучаю. Нам вдвоём было весело. Жена не помнит. Она чувствует, как от усталости сворачиваются мозги. В кино ничего, достойного этой пары часов. Тогда погуляем по парку и пообедаем. Как мне такой план? План прост, потому красив.

Воскресенье, и никто, кроме нас, не спешит. Старики расставляют шахматы. В парке пахнет холодными листьями. Трактор тянет прицеп в виде лебедя, в котором катаются дети. Надо было мышонка назвать Лоэнгрином. Лоэнгрин твой заниматься не хочет, бегаёт и кричит. Уже нервы сдают. Когда возьмёт ложку? Когда начнёт показывать пальцем? Когда уже заговорит? Я смотрю на других детей и расстраиваюсь. Какое, должно быть, счастье. Жена говорит, что теряет надежду. Бедный малыш. Что с ним не так? Но я говорю, я верю, я должен сказать. Всё будет хорошо.

Кажется, телефон. Нет, не мама, мышонок спит. У нас есть пара часов.

Нам несут чайник грузинского чая. Вспоминаю, как мы отмечали тут годовщину. Жена пришла такая красивая, что я заробел. Два года тянулись и пролетели.

Ежевичное вино у них снова кончилось. Похоже, за эти два года всё изменилось несильно, по крайней мере не так, как нам кажется.

Мы те же. И любим друг друга. Только очень устали.

*

Когда каждое утро ходишь одной дорогой, перестаёшь замечать бурьян и пустырь, лужу, которая не высыхает с апреля до ноября, казначейство, Хоккайдо, кусочек асфальта, торчащий над ямой, как Крым в Чёрном море, берёзы, сонных собак, длинную тень от заксобрания и три свечки, втиснутые на пятачок между двумя магистралями.

Те, кто каждое утро идёт по той же дороге навстречу, кому в хорошем расположении духа хотелось кивнуть, улыбнуться, как не совсем незнакомым, становятся неинтересными. Мужчина в тёмных очках, пиджаке, футболке с оттянутым воротом и с грушевым лимонадом. Красавица из казначейства с мушкой на верхней губе — не замедляешь шага — каждое утро воркует по телефону с каким-то счастливецем. Другой парень, крупный, круглый почти, с рюкзаком на одной лямке, раньше ходил один, теперь нет, и у девушки, кажется, круглый живот.

*

Женщина сидит на качелях. Она держит маленький термос и тихонько качается. Сегодня во сне она видела мужа и рассказала ему о внуке. Ей, наконец, стало легче. Через жёлтые листья пробивается жёлтое солнце. Хозяин с красным поводком зовёт собачонку: «Хаммер, ко мне». Трое ребят в сбербанковских галстуках подтягиваются на турнике. По Серебренниковской грохочет трамвай.

*

Не помню, кто предложил зайти в центральный парк — я или рыжий юрист Никита, — но помню, что мы шли к аттракционам намеренно. Никита дал пять, и мы купили два взрослых билета на пиратский корабль. Я дал пять Никите, и Никита с восторгом воскликнул, что после мы будем блевать. Билетёрша вылетела из будки, крича, что выдаст ведро и тряпку и будем сами за собой мыть. Никита вскочил — он юрист, есть закон, они не имеют права! Со скрипом корабль качнулся, и мы запели *glory glory man united*. Зелёные листья сметали в кучи. Кажется, это была последняя тёплая пятница.

*

Их высадили на Ядринцевской. Он держался, но больше не было сил — схватился за голову и разрыдался. Жена обняла его.

Он думал, этот день никогда не закончится. Они вошли в парк. Жена говорила, что запомнит папу весёлым и добрым. Шёл снег, мелкий, мокрый, гадкий, невыносимый. Он вспомнил кладбище и бродягу, который прятался за сосной. Наверное, ждал, что, начав поминать, нальют и ему. По дороге к машине он обернулся — бродяга стоял над могилой, вжав голову в плечи, и вдруг он почувствовал нестерпимую жалость и благодарность к бродяге за то, что тот теперь знает, что папа был жив.

*

По дороге домой Александр Иванович сорвал ей веточку с мокрыми красными листьями. Людмила Юрьевна вдруг спросила, думает ли он, что их ждёт после смерти?

Наталья Султанова

Электричество с зубами

Рассказ

Как зовётся коктейль, где водка перемешана с молнией?

П. Неруда

Часть 0. Дьявол на белом коне

«Вы сейчас через лес поедете и вот туда, вправо — это его лес. Мы за грибами ходим, ну бывает интересно, и только там окажешься раз — и уже появились двое, стоят. Выпроваживают. У него камеры особы, знаете, невидимые. Отвернёшься, и за спиной всегда они появляются, ну то есть скрывают, откуда они. В сосновом лесу прятаться негде, да и мы-то лес знаем. Вон, говорит, змей у себя разводил, по реке они приплыли и оказались ядовитые».

Ерёмин Денис Александрович, 47 лет, таксист, г. Гороховец,
16 июля 2021 г, кафе «Ясень» у заправочной станции,
карта — С00789, заметк: диктофон (Олин тел.) — зап1
+ !акционные хотдоги на Лукойле лучше, берите там

«Да он на съёмки верхом на коне приезжал, у него ж тут дача недалеко, в Подгоре, его вообще с хлебом, с солью, с рушниками встречали. Говорил, актёрскую школу построю, ну и ничего, естественно. А вы из Москвы? Понятно, ага. Мы вот из Нижнего сами, на выходные приехали, но мой брат снимался у него, да, обедать домой бегали и такие усы ему наклеили. У меня сестра двоюродная вот поёт как вам надо, но она в Нижнем, не, не поедете?»

Алексей Данилкин, 46 лет, г. Залисье,
стоянка катеров у моста, карта — С00789, зап2

«Интересно было вообще, когда они приезжали, столько машин, построили целую деревню и церковь даже, а потом взорвали. Ток в этот год очень много кошек пропало, прям много, как будто кто-то их драл».

Зинаида, 67 лет, с котом Баритон на шлейке,
г. Подгора, у «Пятёрочки»

Наталья Султанова родилась и живёт в Москве. Окончила Институт кино и телевидения, работает художником кино. Дебютный рассказ, до этого нигде не публиковалась.

«Если когда один ходишь там туда-сюда и видишь большую белую лошадь одну или с всадником и в ушах так противно зажуужжит, надо обязательно на ночь на пороге батон белого оставить в полотенце, лучше вообще рушник, соль там, но полотенце тоже можно. Девочка, мы дружим с ней, поэтому это правда, она одна увидела, а у неё полотенце только с Микки Маусом было, она оставила хлеб — а утром полбуханки откусано одним куском, один зуб — во! — такой. И он её в покое не оставил, ей золотые зубы снились, которые делали щёлк-щёлк, а однажды, когда был туман, она пол-лошади видела, просто две ноги и хвост ходят».

Артём, 11 лет, и Лина, 10 лет, д. Повелки (у сгоревшего дуба), карта — С00789, диктофон (Олин тел.) — зап3

«Моя бабушка Лена говорит, когда идёт снег — это (неразборчиво) вычёсывает шерсть облакам... собакам... небесным собакам. Я впервые видел июньский снег. Тут молния ударила около трансформатора, мы теперь все чёртовы пальцы ищем в песке, кто самый большой найдёт. Я нашёл большой, но он обломанный».

Витя, 10 лет, г. Подгора, карта — С00801, диктофон (Олин тел.) — зап31

Часть 1. Под горой кошку съели

Экспедиционный микрик — наша бешеная табуретка — бодро едет, стирая шины о несвежий асфальт, ныряет вверх-вниз по холмам. Вверх — вдох — смотрит носом в небо, будто впечатлённый открывшимся видом огромной реки. Ока старая, доисторическая, ползёт между холмов к жёлтому яйцу. Вниз — выдох — подсакивает на съезде на мостик у очередного притока, будто от дурноты, подкидывает общей кучей своё внутреннее содержимое — рюкзаки, складные стулья, ноутбук, гитару без чехла, кофры с камерой и нас, спящих аспирантов-фольклористов. Вверху широко видно и солнце пока не село, а внизу микрик слепнет и на ощупь пробирается сквозь туман, поднявшийся от реки. Мы спим, а наш потрёпанный автобус едет, оставляя позади деревни с горящими окошками, зернохранилища на высоких ногах, силуэт белой лошади в тумане, железнодорожную станцию с заброшенным деревянным вокзалом, лесопилку, гусей, по обочине самостоятельно возвращающихся домой, кладбище, остовы декораций, оставшихся от съёмки фильма Никиты Сергеича, которые проходили тут девять лет назад, ржавую бензозаправку.

Тьма у бетонного столба сожрала кошку. Я уверена в этом почти на сто процентов. Когда мы въехали в Подгору, было уже темно, — только остатки заката перемалывали облака в помехи на грани видимого цвета. Остальное вокруг — чёрная чернота, только зелёный флуоресцентный свет немногочисленных фонарей выхватит время от времени кусок информации из пейзажа. Высокие силуэты дореволюционных деревянных изб вырастают справа и слева до неба.

Странно тихо, только ветер бьётся о стены, хрустит деревьями, и микрик ползёт по улице, неистово трясясь и скрипя, страдая на мощёной булыжником дороге. Свет фонаря выхватил Виталия, обнимающего во сне рюкзак, у него приоткрылся рот и трясётся в такт звону брелка, болтающегося под водительским зеркалом. Уставленные вперёд глаза Мирзы из зеркала вдруг зыркнули на меня — наш новый водитель немного жуткий, но не лишён своеобразного очарования. Микрик резко затормозил на площади напротив светящейся панорамными окнами «Пятёрочки» — нового сердца

города. Автобус всё-таки не сдержал рвотного позыва, и всё его содержимое вывалилось через боковую дверь: все чем-то шуршали, потягивались, выгребали фантики в мусорку, разминали занемевшие иголочками ноги, хлопали по карманам в поисках пачки «импотенции» или «страдания». На улице было свежо, хотелось проглотить воздух разом, большим куском — выдавить из лёгких осадок дурноты: пластиковый запах кресел, стеклоочистителя, висяльки-вонялки с лобового стекла. К ноге что-то прикоснулось, я вздрогнула. Ободранная кошка тёрлась о ноги и жалобно мяукала.

— Ко-о-о-шка, привет! — одной рукой наглаживая кошку, другой вытаскивая из кармана зажигалку, зубами вытянула мятую палочку «страдания», заботливо поднесённую Виталем. — М-м, пакетик вискаса возм-мите и водички негазированной.

— Мороженое будешь?

— Угу, — я кивнула, затянулась сладковатым дымом. Последняя пачка вкусного московского чапмана уже подходит к концу, здесь такого не купишь. — И сигарет возьмите. Вещи покараулю.

Мы с кошкой стояли на самом краю светлого пятна, тянувшегося от окон, а вокруг ни-че-го, синяя чернота, ни одной звезды. Телефон пиликнул в кармане. Появилась связь! Логично, мы же на горе, наверху. Лёгкий скачок тревожных эндорфинов, разблокировала экран — в ватсаппе только три последних утренних сообщения с двумя серыми галочками справа.

Будьте на связи в поездке по России! Входящие звонки всегда беспла...

Опять стало дурно. Показалось, что чернота вокруг сжалась. Опять открыла ватсап — «был(-а) в сети 5 минут назад». Кинула телефон в карман, подняла голову: хотела утешиться кошкой. Меня как будто повело, всё потеряло чёткость. Я выронила сигарету. Кошка метнулась в сторону. Вспышка (темноты?) ударила прямо по глазам. Кошка издала какой-то сдавленный вопль. И, клянусь, я увидела, как край тени придвинулся и начал стирать, как ластик, оцепеневшего зверя от хвоста до головы.

Телефон опять пиликнул в кармане: «...тны. Подключите дополнительный пакет интернета 15 ГБ, отправив 3366 на номер 900».

Готической глыбой на повороте у спуска высился наш деревянный дореволюционный дом, раздербаненный на комнаты и квартиры. Залаляли собаки на два голоса, загорелось окошко сбоку наверху. Крупный мужик вышел к нам, прихрамывая и звеня связкой разномастных ключей.

— Приехали, что ль? — он смотрел недоверчиво и как будто не хотел пускать за калитку, хотя, судя по всему, это был наш контакт — Роман, краевед, присматривающий за местным музеем и организовавший нам проживание. — Воды нет, туалет на улице. Кухня в конце коридора. Берите вещи, — отвернулся и пошлёпал внутрь.

— А где можно попить водички?

Роман посмотрел скептически на Нину и кивнул на огромную квадратную металлическую бочку у яблони.

— Кружка на крыше.

Нина залезла на стоявший рядом с бочкой стул, посветила фонариком — нашла алюминиевую кружку, но сама крышка была слишком тяжёлой, никак не поддавалась. Роман громко хмыкнул, залез к Нине и сдвинул крышку. Фонарик телефона просветил слой прозрачной воды, Нина черпанула кружкой, под рукой мелькнул чёрный силуэт.

— Что это? — Нина поднесла телефон ближе к воде, на дне промелькнуло ещё раз.

— А, да в мае поймал плотвы три штуки, выпустил в бочку, вот живы ещё, хотя почти не кормлю.

Действительно, у дна плавали три тёмные рыбки небольшого размера. Пить как-то перехотелось.

Все вместе, нагруженные горой выскальзывающих из рук вещей, скрученных матрасов и одеял, выданных Романом, фольклористы поднялись по скрипучей лестнице вслед за ворчащим хозяином бельэтажа. Раздав ключи, он удалился к себе на самый верхний, третий, — то ли этаж, то ли чердак.

Лёжа в темноте на металлической кровати, покачивающейся при каждом движении, Нина думала о том, что может делать Роман, чтобы раз в пять минут сверху раздавался такой звук, как будто по полу прокатывают тяжёлый металлический шар, и о том, каково плотвичкам, плавающим в кубе пустой чистой воды в абсолютной тьме.

Часть 2. От трёх до пяти процентов гарантий вечной любви

Заселились в старый дом с привидениями

7:15

Так рано вставать. Где

взять силы выбраться

из кровати

7:15

Можно себя немного поласкать.

7:21

Ты сегодня смотрю ласковый

7:22

Ты ласковый и нежный зверь?

7:23

^^странный вопрос

7:43

Утром Подгора не выглядит зловеще. Старый деревянный купеческий город на холме над рекой. Планировка города старая — регулярная, сеткой, улицы, мощённые белым булыжником, дома высокие, иногда с нижним кирпичным этажом. У пары домов на центральной улице из крыш торчат модернистские башенки. Видно реку внизу. Когда-то был богатый город, на самом деле.

В брошюрке, отпечатанной на ксероксе, которую нам всучил Роман, вместо того, чтобы дать интервью под запись, говорилось, что Подгора стояла на одной из главных торговых артерий страны, поэтому в городе проходила крупная ярмарка. Продавали кирпич из местной голубой и красной глины, особую породу красных коров (привет, Петров-Водкин), которые паслись на заливных лугах, верёвку и канат (чтобы смотать особо длинный, канат вручную разматывали в поле с холма на всю длину). Но город остался в стороне от жизни и финансового благополучия после распространения железнодорожных перевозок. Теперь по реке плавали только баржи, намывающие песок, и рыбаки. Поля засеивались, приезжали дачники на лето, жизнь шла неспешно.

Николай Железняк

Русская мама

Рассказ

Отчего этот посёлок на берегу моря назывался Русская Мама, с ударением на последний слог, а не на первый, что было бы естественным, он не знал. Но необычное название очень понравилось.

Он много чего тогда ещё не знал в той жизни, куда пришёл семь лет назад. Не понимал до конца и почему родители уезжали из этой удивительной бухты такими грустными. Но был уверен, что они сердятся друг на друга. А мама так, скорее всего, даже не могла простить за что-то папу. Который откровенно злился, как и всегда при размолвках, когда не мог пробиться к маме, которая становилась как-то меньше, но твёрже, слегка сутулилась и на несколько дней замолкала.

Не знал он и того, что рядом с Русской когда-то была и Татарская Мама. И хотя маминых родных в конце войны, послушных неумолимой воле, указующей вдаль согнутым крючком перста, выселили не отсюда, а из Джанкоя, гораздо позже он подумал, что, наверное, ей больно было смотреть на пустое пространство, где смех и голоса детей звучали только в её памяти. Мама мамы и сестра умерли, не доехав до Казахстана. Их похоронили где-то неподалёку от рельсов, в тупике неизвестной маленькой станции. А мама только переболела сильно и выжила, её вывели в детском доме. Где она и получила русское имя. Папа же мамы, вернувшись из немецкого плена, куда попал в начале войны, отправился уже в советский лагерь. Но умер не там, а когда вышел и не смог найти родных. Сердце не выдержало. Так мама и осталась одна. Пока не встретила его папу. Оттого она больше всего на свете боялась потерять близких. Их с папой.

Даже сейчас, несмотря на хмурые лица, родители оставались молодыми и самыми красивыми. Он сам это видел, и об этом неоднократно говорили разные люди, знакомые и незнакомые. Многие из них ещё удивлялись, что он совсем не похож на маму. Все отчего-то считали это странным и нехарактерным. Ведь мама такая

Николай Железняк родился в 1964 году в Новочеркасске Ростовской области. Окончил Радиотехнический институт в Таганроге. Кандидат социологических наук. Руководитель литературно-драматургической части театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Автор романов «Большой куш», «Гонки на лафетах», «Одиноким следы на заснеженном поле». Победитель всероссийского драматургического конкурса СТД РФ, лауреат премии по поддержке современной драматургии Минкульта РФ, лауреат III Международного литературного Тургеневского конкурса. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

чернявая и черноглазая, а он уродился в светловолосого и голубоглазого папу. Словно бы приготовился всю жизнь провести на Севере, никогда не возвращаясь на мамину родину, в Крым.

Это было первое их столь далёкое путешествие после покупки папой машины. Они добирались несколько дней, дважды ночуя в пути у знакомых.

Здесь на долгожданном, отпускном для родителей, жарком юге всё было просто замечательно.

В чудесный мир они переправились в полутёмном чреве неповоротливого кита, на пропитанном запахами моторного масла и мазута гулком железном пароме, где огромные грузовики и маленькие легковушки спрессовались в единую, неделимую массу. Выпустили их к новому свету уже в Керчи, где на окраине, в каком-то Аршинцево, к ним в машину подсади добродушный остряк дядя Юра и его жена тётя Лида, отвечающая залиvistым хохотом на все шутки мужа. Эта пара была живым олицетворением этой солнечной земли: такие заразительно весёлые, что втроём на заднем сиденье было даже лучше, чем одному. Хорошей компанией поехали в заводской пансионат, который всю дорогу расхваливал балагур дядя Юра, если не травил анекдоты и не комментировал езду попутных и встречных водителей. Деление производилось на ездунув, куда входила большая часть, ездоков и редких ездецов.

База отдыха располагалась неподалёку, в Героевке, на Чёрном море, что особо подчёркивал дядя Юра, явно ставя его выше жалкой пресной лужи — Азовского.

Действительность несколько поколебала напор и настрой дяди Юры. Видимо, он сам не ожидал, что похожие на снятые с колёс вагончики душные, без каких-либо удобств домики с раскалёнными стальными крышами, похожими на стиральную доску, расположены на необжитом и продуваемом голом берегу. Но дарёному коню в зубы смотреть совсем необязательно, так что оставалось только радоваться. Солнце в выси и синее, совсем не чёрное, море у самых ног никто отменить не мог. Он тоже не понимал, какие ещё нужны удобства, если есть где спать, — жаль только, что не на раскладушке, — и, главное, совсем рядом бесконечно шумит и зовёт тёплое море, в котором, он надеялся, папа научит плавать.

Однако и тут вышла незадача. Недавний шторм перебаламутил воду и пригнал к пляжу такое количество мелких, как олады, белёсых медуз, что мягко вспухающие спинами исполинских рыб волны серебрились склизкой чешуёй. Этим гигантским рыбакам вполне достало бы жадности, чтобы проглотить своим хайлом любого взрослого. Даже такого высокого, как папа. Загорелые мальчишки, гасая по берегу и разбрызгивая ступнями беспрестанно набегающую пену прибоя, бросались медузами друг в дружку. И совершенно не боялись окаменеть под их ужасающим взглядом. В ладонь маленькие студенистые тельца можно брать, они обжигали только менее защищённое грубой кожей тело, когда с липким шлепком попадали в тебя. И глаза нужно беречь. Безбашенные игры недорослей женщины не одобряли, так что после полдника на расстеленной на песке скатерти, несколько раз раненной брызгами смешанного с семенами сока из огромных красных помидоров, — мужчины пошли прогуляться к окопам.

В войну здесь с моря высаживался советский десант. Линия обороны захваченного бойцами плацдарма сглаживалась временем, заросшие травой окопы и воронки осыпались, исчезая, как затягивающиеся рубцы, но всё ещё были видны, хотя с войны прошло уже тридцать лет. Цепь земляных укреплений красноармейцев тянулась вдоль побережья всего в сотне метров от воды. На эту узкую полоску тверди сверху, из слепящего зенита, распластав чёрные крыла и затеня светило, заходили и падали

в пике безжалостные железные птицы, и клевали жёсткими клювами землю, стремясь попасть в горстку людей, и теряли свои железные перья, желая их более ужалить. Дядя Юра с папой помогли нам с ребятами и палками, подобранными с земли, за полчаса отрыли дюжину разнокалиберных гильз, от больших, вроде из самолётных пулемётов, до обычных винтовочных. Дядя Юра даже нашёл пару немецких автоматных. Бои шли и врукопашную, прямо в окопах. Оттого по этим холмам так много бессмертника. Эти росшие отдельными купами ярко-жёлтые цветы на высоких серых ножках при обилии соцветий всё равно производили впечатление одиноких. Судя по названию, они выросли на месте гибели людей. Каждый цветок — умерший человек. Единственная память. А папин папа погиб подо Ржевом. Дядя Юра рассказал, как его сын с другом нашли прямо на просёлочной дороге неподалёку отсюда торчащий почти на всю длину из земли гранёный острый штык. Ржавый металл так плотно сидел в многократно изъезженной колее, что ребята не смогли вырвать его. Возможно, он даже был на винтовке, потому и не поддавался. Взрослые отказались идти к находке — нужно было возвращаться в город, — как ошалевшие и возбуждённые пацаны ни упрашивали. Здесь всё перепахала война. Осколков вокруг вообще не счесть. Они даже не взяли их с собой. Кроме одного, зазубренного, с выбитыми на нём цифрами. Мама и так была недовольна и немного наругала за трофеи, но он упрямился оставить гильзы. Правда, выковыривать из них спичками землю и мыть пришлось самому. Мама наотрез отказалась прикасаться к оружию.

Не пошла мама и купаться после того, как дядя Юра сообщил, что по всему побережью до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Но редко, уточнил он, увидев испуг в её глазах.

Дядя Юра организовал лодку. И настоящие мужчины на вёслах вышли в море за провиантом — ловить рыбу. Если не встретится более крупная добыча. Акула там или огромная черепаха. Надо же было обеспечить пропитанием женщин. Тётя Лида с мамой остались на берегу ждать и надеяться на улов. Мама строго-настроено наказала папе следить за сыном, тот обещал, потрепав его вихрастую белобрысую голову.

Первым делом дядя Юра, ныряя, голыми руками надрал чёрных мидий. Эти дары моря лепились к обросшим женскими юбками мохнатых зелёных водорослей опорам далеко уходящего на глубину пирса. То ли снесённого бурей, то ли разрушенного в войну. Очень вкусные ракушки, убеждал всеядный дядя Юра, легко раскрывая, поддевая ногтем, чёрные створки. Папа побрезговал есть моллюсков сырьём, но не стал запрещать сыну. И они вдвоём с дядей Юрой, сидя на банке, а никак не на лавке, и в шлюпке, а не в лодке, на траверзе Героевки, в открытом море, что было очень по-рыбацки, съели по несколько штук. После того, как дядя Юра выковырял выводящую отходы перерабатываемых водорослей часть овально-плоского тельца мидий. Даже солить их не нужно, они и так жили в рассоле.

Сначала на банке — уже на песчаной отмели — ловили обычных, песочного цвета бычков, используя для наживки всё те же, трудно насаживающиеся на крючок, недоеденные мидии. Ловля шла на закидушки, проще сказать, на смотанную на дощечку леску с несколькими крючками на конце. Снасть перекидывали за борт, стравливали и, держа натянутой через указательный палец, ждали поклёвки хитрой головастой рыбёшки. Пара мелких не удовлетворила азарт, посему снялись с якоря и ушли дальше от берега. На камнях водились бычки-кочегары, чёрные, как уголь. Папе и дяде Юре везло, а ему, неопытному салаге, никак не удавалось поймать даже хамсу, тюльку или кильку. Так что дяде Юре пришлось захотеть «освежиться» и насаживать под водой на крючки его закидушки предварительно взятых из улова бычков, сразу по

Анна Воропаева

Про любовь в Поднебесной

Китай — родина более чем миллиардной нации. По традиции каждое без исключения утро шумная волна темноволосых, для многих европейцев на одно лицо, жителей Поднебесной заполняет еще не до конца проснувшиеся улицы городов-миллионников. Работающие в режиме 996¹ менеджеры компаний, оставив малолетних детей на попечение дедушек и бабушек, забыв обо всем на свете, потрудиться ради лучшей жизни для семьи. Стремящиеся в будущем занять место в рядах этих самых менеджеров сонные студенты с кипами книг в руках на ходу жуют баоцзы² и чайные яйца³, купленные у кривенькой бабули, которая каждое утро без выходных и больничных паркует свою тележку на обочине дороги, чтобы заработать денег для внуков, а те с товарищами, одетые в спортивные костюмы и пионерские галстуки, в это же время вереницей стремятся за новыми знаниями в школу, чтобы в будущем стать опорой и надежей для бабули и родителей.

В этом утреннем муравейнике каждый заряжен на предназначенную ему работу. Так уж устроено китайское общество. Миллионы людей, миллионы судеб, миллионы жизненных историй.

Я же хочу сегодня затронуть, пожалуй, самую лирическую из них — историю про Поднебесную любовь, любовь в Поднебесной. Вы спросите, а она вообще возможна при таком сумасшедшем темпе и всем известном «материальном» отношении китайцев к жизни? Отвечу: возможна, но с очень тонким, я бы даже сказала, мудрым отличием от привычного нам представления о семье и любви. Какова она, любовь на просторах коммунистического, материального до мозга костей Китая, давайте судить вместе.

Воропаева Анна Владимировна — китаистка. Родилась во Владивостоке в 1983 году, окончила факультет востоковедения ДВГТУ по специальности переводчик китайского языка и магистратуру Университета иностранных языков в китайском городе Далянь. Более 10 лет прожила в Китае. В настоящее время живет во Владивостоке, работает переводчиком и преподавателем китайского языка, занимается научной работой.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 1.

¹ В некоторых фирмах китайцы работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю — «996». В 2021 году правительство постановило, что за сверхурочную работу нужно доплачивать, но на частных заводах и предприятиях этот режим работы действует и теперь. (*Здесь и далее прим. автора.*)

² Приготовленные на пару пирожки с начинкой.

³ Яйца, сваренные с чайными листьями, соевым соусом и пряностями.

*Линь Линь и Юн Юн.**Китайская мечта: вместе к стабильному светлому будущему!*

Спустившись с конечной станции монорельсового поезда города Ухань, мы поставили свои огромные чемоданы и осмотрелись по сторонам. За время, что мы провели в метро, стемнело. В многомиллионном южном городе Китая сегодня выпал снег, вызвав коллапс на дорогах. Визг скользящей по мокрому снегу летней резины, водители, нервно «фафакающие», настоятельно требуя уступить дорогу, суета, возня... Картину дополняли заповолившие тротуары кособокие тележки с местными деликатесами, хозяева которых во все горло зазывали возвращающихся пешком домой работяг с близлежащих фабрик. Хозяева припаркованных под монорельсовой дорогой мотоциклов на той же летней резине, что и личные авто, смело навязывали свои услуги: подбросить до пункта назначения за кругленькую сумму.

Во всей этой неразберихе мой спутник Ян Сянь (а по-русски Сеня) все же усмотрел кого-то знакомого. Таща за собой чемоданы, по пути отбиваясь то от продавцов съестного, то от мотоциклистов, мы добрались до свободного пятячка возле мокрой опоры моста, где, нервно куря, переминался с ноги на ногу лысоватый худощавый китаец лет тридцати с копейками. Он поднял взгляд и, увидев Сеню, устремился к нам. Юн Юн — так, оказалось, звали мужчину — был мужем старшей сестры Сени. Поздоровавшись, он схватил мой огромный чемодан. Откуда ни возьмись из толпы вынырнула невысокая, худенькая, с растрепанным хвостом китаянка. Трясаясь от холода, она запахнула слишком легкую, на мой взгляд, для такой погоды куртку и, подойдя поближе, постукивая осенними ботиночками один о другой, оглядела меня с ног до головы, как какую-то диковинную зверюшку. Это была Линь Линь — сестра Сени и героиня первой части нашего рассказа.

Она деловито сообщила, что из-за выпавшего снега и затора на дорогах, они решили не ехать на машине и нам придется пешком добираться до их жилища, где мы и заночуем. А когда транспортная ситуация нормализуется, отправимся в деревню¹. Именно родная деревня Сени и была нашим пунктом назначения: близился китайский Новый год, время, когда вся семья собирается вместе за одним столом. Что ж, ничего не оставалось, как подчиниться решению «принимающей стороны». И мы вчетвером, чавкая промокшими ботинками по грязной жиже, направились в сторону дома сестры Сени. Еще не подозревая, сколько придется пройти, я с интересом оглядывалась по сторонам. Шли мы вдоль бесконечных заборов, за которыми на просторных площадях располагались огромные заводы и фабрики. Стоит отметить, что Ухань — промышленный город-порт, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. Это огромный жужжащий улей, не замедляющий свою жизнь даже ночью.

Шли мы минут сорок, пока Линь Линь не завернула в открытые ворота какой-то фабрики. Пройдя мимо трехэтажного, отделанного белым кафелем здания, мы снова завернули, на сей раз в небольшой двор позади фабрики, и оказались перед длинной одноэтажной постройкой со множеством железных дверей и зарешеченных окон. Это было общежитие работников фабрики. Линь Линь вставила ключ в замочную скважину и повернула его.

Но прежде чем открыть дверь комнаты, хочу отметить: не все китайцы живут так, как герои моего рассказа. Китай стремительно набирает мощь, развивается, и за ним становится довольно сложно угнаться даже некоторым сверхдержавам. Многие китайцы имеют хороший заработок, квартиры, машины и все блага, которые так любят «материальные» жители Поднебесной. Я же рассказываю историю обычных

¹ О нашей поездке в деревню см. «Заметки лаовая о жизни в китайской деревне под Уханем до пандемии» («ДН», 2021, № 9).

работяг, которых в Китае, конечно же, тоже хватает. Ведь именно они крутят экономическую махину государства. Благодаря их трудоспособности и желанию иметь лучшую жизнь, Китай в какой-то мере и является тем, чем он сейчас является.

Позвольте официально представить наших героев. Линь Линь родилась в 80-х годах двадцатого века. Это был непростой период для Китая. В то время доход родителей-фермеров оставлял желать лучшего. Да что уж там! Даже еды не всегда хватало на всю семью. В то время сельские жители не особо вкладывались в образование дочерей. По китайским традициям, девочка вырастает и уходит в дом мужа, так зачем излишние траты? Поэтому, отучившись в средней школе, Линь Линь окончила курсы кройки и шитья и направилась в огромный город Ухань искать свою ячейку в жизни рабочего общества. Так она оказалась на швейной фабрике. Зная не понаслышке, что такое жить впроголодь, заряженная мантрой «работать, зарабатывать, копить», Линь Линь с 8 утра и до 10 вечера, без выходных и отпусков, работает на фабрике, выстрачивая ровные швы одежды, предназначенной, возможно, и для нас с вами. В целях большей продуктивности производства, смекалистые хозяева предоставляют рабочим общежитие, которое расположено прямо на территории фабрики. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время и деньги на дорогу, вечером можно трудиться допоздна, зарабатывая премиальные за сверхурочную работу.

Юн Юн — работает водителем грузовика. И так же, как жена, вкалывает с утра до вечера, развозя грузы по городу. Перевозки в Китае налажены очень оперативно, и работа Юна считается одной из перспективных среди рабочего класса. Как же они познакомились при таком сумасшедшем графике? — спросите вы. Можно себе представить романтическую сценку из какой-нибудь китайской драмы¹, как в один прекрасный солнечный день Линь Линь в шифоновом легком платьице перебегает мокрую от грозового дождя дорогу и, поскользнувшись, чуть не попадает под колеса грузовика Юна. Или, может быть, Юн привез для нее посылку и влюбился с первого взгляда в ее раскосые глаза и щеки в веснушках. Но такое в стране с безоговорочным приоритетом материальных ценностей, на мой взгляд, может случиться только в драмах. В реальной жизни все намного проще.

Познакомились наши герои через родственников. Да, да, то самое «у вас товар — у нас купец» в Китае до сих пор широко распространено. Если ребенок достиг брачного возраста и уже устроен материально, пора играть свадьбу. Родители начинают присматривать для них пару. Так случилось и с Линь Линь. Однажды, когда она приехала домой на китайский Новый год, у нее случился разговор с мамой, которая как бы невзначай обронила, что в соседней деревне есть молодец: хорош собой, работящий, из приличной семьи, бережливый и со стабильным заработком. Чем не жених? Будучи китайской женщиной, Линь Линь взвесила все за и против и согласилась на общение по вичату с перспективным, как считала вся семья, для ее уровня женихом. На протяжении года, занятые каждый своим делом, молодые люди общались по мессенджеру, узнавая друг друга получше. А на следующий китайский Новый год семьи встретились, и была выбрана благоприятная для свадьбы дата. Так и поженились. А еще через год у них родился сын. Все по плану, как заложено традициями и обществом в умы представителей деревенской Поднебесной. Планы планами, но мы тут про «вместе к стабильному светлому будущему» разговаривали. Пора нам возвращаться к железной двери общежития.

Линь Линь отворила дверь своего жилища. Ступив на порог, я осмотрела крохотную каморку. Возле окна стоял старенький деревянный стол, на котором

¹ Драма — изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться в русскоязычном интернете как общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии.

расположились выдавшая виды газовая плитка со сковородой вок¹, пакет с одноразовой посудой и термос, тот самый китайский термос с рисунком пиона и деревянной пробкой. Вдоль потертых стен на полу были навалены пакеты с овощами и зеленью из деревни, заботливо переданные мамой Линь Линь. Возле задней стены, на столбиках из кирпичей, стоял старенький топчан, накрытый потертым одеялом. На стоявшей рядом вешалке висели скромный гардероб Линь Линь и пара разноцветных дамских сумок с местного вещевого рынка. Отопления в комнате не было. Сенина сестра предложила мне самое почетное место в ее скромном жилище — тот самый топчан. Достав откуда-то из закров обогрватель, она воткнула его в расшатанную розетку. Пока Юн Юн хлопотал на импровизированной кухне, Линь Линь вскипятила воду и, налив в таз горячей воды, поставила его передо мной, что-то объясняя на плохоньком путунхуа² с элементами наречия ее деревни. Я вопросительно посмотрела на Сенью. Оказывается, чтобы согреться, китайцы по вечерам парят ноги. Согревающий эффект улучшает циркуляцию крови и энергии ци³ по телу, а также регулирует работу внутренних органов. Нагрел ноги — и в кровать, под теплое ватное одеяло. Осторожно засунув замерзшие ноги в горячую воду, я почувствовала, как мое тело начинает потихоньку согреваться после сорокаминутной прогулки в мокрой обуви по промозглому Уханю. Но на этом гостеприимство сестры Сени не закончилось. Она поставила рядом с тазом теплые байковые ботиночки — зимняя домашняя обувь, которая пользуется огромной популярностью у местных. Не знаю точно, из чего они сделаны, но только такие ботиночки помогают выживать в промозглых домах без отопления при температуре ноль градусов. Наша обувь тут совершенно бессильна. Напарив ноги, я надела предложенные мне новые носки и ботиночки и уселась на низенький табурет рядом с Сенией возле раскладного столика. Запах теплого, свежесваренного риса и только что приготовленных Юном, еще дымящихся на столе овощных блюд, спровоцировали мой желудок на урчание. С чувством полного удовлетворения жуя тушеный шпинат и домашнюю колбасу Сениной мамы, быстро обжаренную на сильном огне с сельдереем, я с удивлением обнаружила, что убогая на первый взгляд комната китайского общежития вдруг наполнилась теплом и уютom домашнего очага. Стало хорошо на душе. После долгой дороги и холода тело наконец расслабилось, и захотелось окунуться в сладкое царство Морфея, под то самое, изначально казавшееся невзрачным и потрепанным, но на самом деле тщательно выстиранное и пахнущее чистотой одеяло.

И у меня возник вопрос: а как же мы все поместимся в этой крохотной комнатке? Проблема была решена очень просто. Оказывается, хоть Линь Линь и Юн Юн муж и жена, живут они в разных общежитиях. Линь Линь здесь, а Юн Юн — у себя на автобазе. Вот такая она китайская любовь работяг. Скажете — совсем не романтично и бесчувственно? Может быть. Но, согласитесь, любовь бывает разной. В разном возрасте, с разными людьми, в разных условиях мы испытываем разную любовь. И у наших героев она тоже есть, их особенная любовь. В одной очень популярной китайской песне есть строка: «Самое романтичное, что я могу представить себе в жизни, — это потихоньку состариться вместе с тобой». И пусть в их отношениях нет чрезмерных эмоциональных всплесков, и живут они пока порознь, пусть они друг друга не называют «зайчиками» и «котиками», но эти ребята, когда-то согласившиеся связать свои жизни, рука об руку идут к общей цели, которую они когда-то поставили перед собой. Выходцы из простых семей, не имея высшего образования, они изо дня

¹ Круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра.

² Путунхуа — официальный язык КНР, за основу которого принят пекинский диалект.

³ Ци, иногда чи — одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная в том числе и для традиционной китайской медицины. Чаще всего определяется как «эфир», «воздух», «дыхание», «жизненная сила».

Алексей Буров, Геннадий Прашкевич

О токсичной информации, о Большом взрыве, о последующих началах

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич (Новосибирск, Россия):

Дорогой Алексей!

Это я об искусстве — как сфере, в которой мы обитаем.

Неважно, ходишь ли ты в театр, не пропускаешь заметных литературных новинок или тебе все это глубоко неинтересно. Ты — в ноосфере, никуда не денешься, не выпрыгнешь из нее, не запрешься в пустой квартире, не спрячешься в редющем осеннем лесу. Обыватель, листающий книжку, обычно прикидывает, стоит ли ее читать, читающий человек — пытается соотнести прочитанное со своими вкусами, взглядами (если такие есть). Не улыбайтесь, я это — о нас, о людях разумных, хотя человек мало знающий выглядит в некоторых случаях даже предпочтительнее, — ведь он не имеет привычного (ординарного) привитого обществом вкуса...

Тут и начинаются вопросы.

В свое время, начиная «переводы с неандертальского» («Белый мамонт», «Белым по белому»), я был убежден в бесконечности становления человеческой души, эстетических воззрений, добра. Всё, считал я, в этом мире — только к лучшему, во всем можно разобраться. Это шло из самой жизни. В далеком военном (сороковые годы прошлого века), послевоенном детстве мы страстно искали книгу. Сперва хлеб, конечно, но потом — книга! Не как вещь, не как украшение квартиры (сейчас, кажется, многими даже эта функция книги отвергнута), а как источник чего-то нового, неизвестного. Мы даже на авторов тогда не обращали внимания. Да и какая разница, кто написал о приключениях Конька-горбунка или о Таинственном острове? — главное, это интересно, это необходимо. Почему необходимо? — объяснить не могу. Но прочитанное запоминалось, хотя бы отдельными фразами, чтобы потом, в течение всей жизни, всплывать из постепенно темнеющей памяти.

Мы *искали* книгу. Мы хотели узнать что-то новое. Прочитанная книга нас меняла. Никто не пытался оставить прочтение книги на потом: дескать, вырастем — разберемся. Максималисты, мы хотели разобраться сейчас, сразу, неважно, лежали перед нами «Сорочьи сказки» или «Севастопольские рассказы», «Порт-Артур» или

«Занимательная физика», «Война миров» или «Семья Тибо». Детство тем и хорошо, что ты ничего не отгалкиваешь. При этом споры наши часто шли о правдивости прочитанного, неважно, что сами при этом мы преувеличивали и ввали (не только из-за отсутствия нужного воспитания), и черпали основные знания об окружающей нас жизни из рассказов соседей, никогда не слышавших ни про какие туристические поездки, зато побывавших в Германии, в Австрии, в Польше, в Румынии, Чехословакии и т.д., и т.п. (как победители), на Севере, на Сахалине, на Колыме и т.д., и т.п. (как проигравшие).

Многое меняется, когда с соседом говоришь доверительно.

Когда правду не утверждают силой, она доходит сразу, когда правду тебе навязывают, она легко превращается в слухи, вырождающиеся в чистую ложь, а слухи эти (давно известно) воздействуют на общество мощней самой талантливой книги. Новая информация всегдастораживает. Отсюда у всех свое толкование слухов.

О, это *свое*...

«Вы что, не знаете, что Марина Цветаева отдала своих детей в детдом?» — это в ответ на восхищение ее стихами. «Ой, а вы что, не знаете, что Артюр Рембо наркоманил, пил, торговал оружием!» — вот, дескать, не восхищайся этим «Пьяным кораблём».

Бесконечный, немыслимый ряд *своих* толкований.

«Ой, а вы что, не знаете?..»

И уже обыденно смотрится еще вчера сказочная театральная сцена, по которой бегают визгливые, обнаженные (усилиями очередного режиссера) героини стыдливого Антона Павловича Чехова, а герои Островского говорят словами, какими никогда не говорили.

«Нам так понятнее!»

И уже *своей* становится перемонтированная, перевернутая, переименованная, изувеченная (считавшаяся вечной) классика.

«Ой, а вы что, не знаете? — это же *наша* культура».

А раз так, то нам (режиссерам прежде всего) должны по закону принадлежать не только недра земли, но и искусство.

Слухи, токсичная информация.

«Ой, а вы что, не знаете, что баржа Зиганшина была загружена мешками с картошкой?» И уже не помнят Зиганшина, зато отплясывают «Зиганшин — буги, Зиганшин — рок!» И уже разносятся по всему миру столь же смелые слухи: тот пил, а тот воровал, третий служил у белых, а четвертый запятнал себя службой у красных, пятый торговал валютой, тоже нам — творцы!

Принимать сказанное как ложь? Принимать (утверждаемое) как правду?

Современное искусство сплошь и рядом занято так называемой борьбой Добра и Зла, никак не меньше. Люди, тролли, орки, эльфы, даже деревья, даже звери — все или за правду, или против нее. «Ой, а вы что, не знаете, что Толкин считал Россию страной орков? Ой, а вы что, не знаете, что родиной мирового зла Конан-Дойл считал Россию?» (Понятно, задолго до Рейгана.)

Чем дальше, тем страньше.

Если считать человечество единым, голова кружится.

Приходит Робеспьер, и революция принимает другие формы, уходит Троцкий — и жизнь страны меняется. Вдруг что-то случается, книга снова идет в народ, даже Баркова переиздают, даже стихи адмирала Шишкова печатают, а потом опять все рушится, Пушкин с Тютчевым — заря вечерняя. Народовольцы? Да кто их помнит?

«Нам нужны потребители, а не умники», — как сказал один министр. В пыльных будках буккроссинга пылятся томики, еще вчера стоившие немалых денег, валяются книжки, заставлявшие нас плакать и смеяться, не одного выведшие на правильную жизненную дорогу.

«Ой, а вы что, не знаете, что разум требует упрощения?» Меньшими категориями уже не мыслят. Обломов? Какой Обломов? Тот, что на диване лежал? А чем плохо? Зла никому не делал. Корчагин? Какой Корчагин? А, тот, что шашкой махал? Маресьев? Да ну вас! Ну, летал с протезом. У нас вон плясун на сцене без обеих ног пляшет. Сидя, конечно. Но люди так и прут. Сочувствуют, радуются. Или вот недавно издали роман, в котором герои своими, наконец, объявляют не только недра страны, но и написанное предшественниками, ну, этими, помните? — Пушкиным, Тютчевым, Достоевским, Фетом, Толстым, Тургеневым. «Творческое воображение? Оставьте! Время — деньги. Когда тут воображать? Воображение, оно — как вода, которую силком закачивают в давние, уже почти выработанные нефтеносные пласты искусства. Поняли? У нас литературные недра такие бездонные, что придуманного всем и надолго хватит, зачем время терять, закачивай воду в пласты!

Вот написано в романе, о котором упомянули:

«От самого Барнаула только и слышно, что едет из столицы чиновник. Кто Кистепёрым его зовет, кто по фамилии — Салтыковым. Ну, конечно, не просто чиновник, написавший пару умных книг, а чиновник лобастый, лютый, придумал Закон о защите культур прошлого. А что такое прошлое? Да поле давно сжатое, заброшенное, поросшее сорняками. “Всё васильки, васильки”. Помните? А полем этим пользоваться нельзя, видите ли, Пушкин его пахал. А мы чем хуже? У нас каждый пашет в Сети. Недра страны, недра искусства должны принадлежать народу! “Миллионы вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы!” Какая “Железная дорога”? Какой к черту Аполлон Бельведерский? Видите, в небе инверсионный след? Это вам не паровоз. Под СУ39 Каренина не бросится».

Скажете, переизбыток непереваренной информации?

А почему переизбыток этой информации (уже не просто непереваренной, а действительно токсичной) ставит героев Чехова на одну ступень с пассажирами Адама Козлевича, любящими плясать под луной голыми?

Профессор Донда, герой пана Станислава Лема, считал любую информацию сугубо материальной. Информация растет, накапливается. Кто-то создает новую физику, кто-то анализирует прошлое, кто-то лопочет стишки о прелестной даме (именно так, с прописных), а кто-то утверждает, что художникам ни в чем нельзя верить, они веру свою давно пропили. Книга плохо идет на рынке? Ну и что? Ушел папирус, ушли глиняные таблички, вот и продуктам Гутенберга конец. Информацию сегодня нужно подавать готовыми блоками!

А информации сегодня много.

А информация (так не только профессор Донда думает) — вещь материальная.

И ее, этой информации, час от часу прибывает. Ее все больше и больше. Она, как чудовищная Ниагара, ежесекундно низвергается в мир в невероятных объемах: научные трактаты, исторические исследования, стишки-порно и стишки лирические, лопотанье влюбленных и ругань грузчиков, споры бесчисленно нарастающей профессуры, категорические утверждения бесконечно множасьихся политологов, блогеров, несть им числа. И приходит, приходит заветный час: лопотанье, болтовня, споры, трагические речи, всхлипы, выкрики, лозунги, проклятия, душевные романы, монологи актеров и философские эссе превышают некий критический уровень и —

бац! —

Большой взрыв! Начало новой Вселенной.

А там уже и первожизнь. А там уже и первый человек. А там уже первые переводы с неандертальского. Каждое лыко в строку, информация снова начинает множиться. То есть снова начинается свирепая битва за правду (каждого). Выкрики, ругань, лирика, страстное дыханье, трели соловья, разборки тех, кто за правду, разборки тех, кто лучше всех знает, что такое правда — колба жизни вновь взболтана, информация перемешана. «Миллионы — вас, нас — тьмы, и тьмы, и тьмы».

И опять — шепот. Опять робкое дыханье, трели соловья.

И —

бац! —

вот вам новый Большой взрыв, начало новой Вселенной.

Вот они снова — бесчисленные басни про империю лжи, несчетное количество книжек с однотипными названиями. «Ахматова в жизни», «Цветаева в жизни», «Коллонтай в жизни»; Томас Мор и Ньютон, Эйнштейн и Лобачевский, Бунин и Булгаков, Марк Твен и Вашингтон Ирвин. Все — «...в жизни». То есть снова и снова о том, что ели, как ввали, с кем спали, с кем дружили, с кем соперничали. Как хрен на огороде прорастают, прут «знающие» люди. И вот уже театр с голыми актерками, вот смешение полов, фантастическое вранье всех типов и уровней; информация накапливается, накапливается, достигает критического уровня,

и вот —

бац! —

опять новая Вселенная.

А ведь интерес Стивена Хокинга к Богу (именно так, к Богу) определялся вовсе не тем, каким этот Бог мог быть «в жизни». И Эйнштейн высунутым языком вряд ли гордился, вряд ли приплясывал от восторга, видя везде эту фотографию. И Цветаева не смеялась радостно, стоя перед дверями дома, и Эдгар По ничуть не гордился очередным пузырьком опиума, и стыдливый Чехов повесть свою называл все-таки «Дама с собачкой», а не «Метёлка с хундиком». Только что с того? Как вырубались, так и вырубаются окружающие леса (печатать «Цветаеву в жизни»), сжигались и сжигаются леса доисторические (чтобы читать названную книжку в тепле). Снова шепот. Снова робкое дыханье, соловья трели.

И вот —

бац! —

Большой взрыв, новая Вселенная.

Или это все уже не важно, все это мелочь?

Но тогда очередной вопрос (продолжим движение к критической массе): а у Него есть мелочи? Он допускает существование мелочей? Он спокойно смотрит на взбаламученную (для нескольких поколений — навсегда взбаламученную) жизнь? Неужели человек разумный в процессе своей невероятной творческой эволюции, кроме вышеуказанного *бах*, ни к чему не пришел? Неужели Солнце запросто можно заслонить мутными мыльными пузырями?

И приблизятся годы, о которых ты скажешь: «Я их не хочу».

Неужели вот-вот переписут и Экклезиаста?

Алексей Буров (Чикаго, США):

Дорогой Геннадий Мартович, обычно я пишу вам о звездах, о чем-то небесном или метафизическом. Не знаю, как можно писать про такое после 24 февраля, когда новая жуть началась, и неизвестно, когда прекратится. Ужас перед развершимся адом — вот мое постоянное состояние с тех пор. И все же, с другой стороны, мы не должны терять звезды из виду, что бы с нами ни происходило, хоть конец света.

Много чего мелькнуло, вспомнилось при размышлении над вашим письмом, но ярче всего — фраза, которой в 1675 году Барух-Бенедикт Спиноза закончил последнюю главу своей последней книги: «...если бы спасение можно было найти без большого труда, то отчего же почти никто не заботится о нем? Все прекрасное так же трудно, как оно редко».

Книга Спинозы называлась «Этикой» и описывала путь к подлинному счастью, раскрывая его через осознание фундаментальной реальности. Последняя же глава этого труда называлась «О могуществе разума или о человеческой свободе». Могущество разума, по Спинозе, вполне соединяется с редкостью проявления одного. Стремление к истине, реализация подлинной свободы, достижение подлинного счастья не были особенно присущи массовому человеку ни тогда, ни сейчас, всегда оставаясь уделом лишь редких одиночек. Хорошо уже, если массовый человек оказывается занят полезным делом, совершенствуется в нем, а не бросается громить города и не объявляет редких Спинозовских одиночек врагами народа со всем вытекающим. Спинозе в этом отношении повезло: он жил в самой свободной стране Европы, и за вольнодумство был всего лишь изгнан из еврейской общины.

Во времена, когда издание книги стоило заметных денег, ее появление означало, что кто-то за нее поручился не слишком малой суммой, что создавало какой-то фильтр, худо-бедно отсекавший откровенную серость. Так было на Западе. В советской же стране всякая дышащая свободой книга уже вызывала интерес — не очень много их и появлялось, и не всегда легко было доставать стоящие вещи. Не так в наше время, когда каждый желающий свободно оповещает весь мир о своих мнениях, когда из таких мнений и состоит почти вся информационная сеть. У Хорхе Луиса Борхеса есть фантастический образ «Вавилонской библиотеки» — полного собрания всех текстов, что в принципе могли бы быть написанными; внутри примерно такой библио-, аудио-, видеотеки мы уже и оказались. Это то же самое, что оказаться внутри шума с редкими и трудноразличимыми проблесками сигналов. В принципе, рецепт поведения в такой ситуации понятен — поставить фильтры и обращать внимание лишь на то, что через них проходит. Фильтры должны быть достаточно узкими, чтобы оставлять нам возможность для осмысления реальности и общения с друзьями. И одновременно, мы не хотели бы быть закрытыми от важных сигналов. Универсального алгоритма для требуемых информационных фильтров нет и быть не может по Спинозовской причине: прекрасное более чем редко, оно всегда своеобразно, тогда как всякий алгоритм нацелен на работу с рутинными паттернами. Центральное значение здесь имеет личный вкус; его выработка становится условием ментального выживания. Мы с вами, Геннадий Мартович, приложили немало усилий к выработке своих вкусов, но можем ли мы помочь в решении этой задачи нашим читателям? Хотя отрицательный ответ тут напрашивается, все же рискну дать совет тем, кто готов прислушаться: *читать классиков*, да не прозвучит это банально. Усилю совет: среди классической литературы есть суперклассические вещи, осмысление которых имеет первостепенную важность.

Осмелюсь сказать, что в европейской культуре таких супервершин две, это две коллекции эссе: Библия и диалоги Платона. Внимательное прочтение и постоянные размышления над этими текстами имеют исключительное значение для формирования вкуса к подлинному; все остальное как минимум вторично. Эти тексты цитируют, на них опираются, с ними спорят, их сбрасывают с корабля современности, но они снова там оказываются, их переписывают на современный лад и опять восстанавливают их подлинный смысл. Это и есть диалог с ними. Так было и так будет, пока жива великая культура.

Корни европейской культуры, а русская культура есть ее часть, уходят в великие тексты. От Библии идет мистическая эстетика Вселенной, достоинство личности, культ любви и милосердия. Эти важнейшие элементы мировоззрения нельзя просто продекларировать и принять, даже при желании — не получится. Они могут лишь задаваться определенным представлением об основах реальности в контексте открытия и осмысливаемого переживания сакрального. Этика задается лишь как святое сияние метафизики, стоящей за ней величественной тайны мироздания и неотрывных от нее потрясающих душу историй — и более никак. Библия задает этот мощный багаж великих историй, говорящих человеку, кто он такой и что с ним уже было в веках, каковы опасности и средства спасения. Мощь библейских текстов выражалась не только в их многочисленных комментариях великими умами, но и в изобразительном искусстве, архитектуре, художественных и философских текстах, божественной музыке. И, конечно же, она сияла в церковных таинствах.

Переходя к Платону, вспомним высказывание математика и философа прошлого века Альфреда Норта Уайтхеда, что вся европейская философия может рассматриваться как примечания к платоновым диалогам. И это не преувеличение. Главное, чему учит Платон — мышлению. Многим такой тезис может показаться странным, ведь мы по определению относимся к виду человека разумного — у каждого нормального человека есть здравый смысл, на недостаток которого, по замечанию Декарта, никто не жалуется. На какие угодно свои недостатки люди жалуется, но не на этот. О каком тогда обучении мышлению может идти речь? Искусство мыслить, которому учил Платон, он сам называл диалектикой. Самое главное качество, отличающее диалектику от общего всем здравого смысла — отыскание и обращение на себя сильнейшей критики. Здравый смысл, выставляя какое-то утверждение, заботится обычно об аргументах в пользу этого тезиса, от возражений же стремится отбиться всеми правдами, а то и неправдами. Здравый смысл защищает свои тезисы и этим ограничивается. Диалектика же учит большему — не ограничиваясь поиском сильнейших аргументов в пользу исследуемого тезиса, она требует далее найти и рассмотреть сильнейшие ему возражения, контр-тезисы, на которые далее распространяется то же правило, отыскание сильнейших контр-контр-тезисов, и так далее. Диалектическое рассуждение строится подобно шахматной партии, где отыскиваются сильнейшие ходы за обе стороны, а не только за любимых белых, к чему тяготеет обычный здравый смысл, commonsense, мыслящий лишь одноходовками. Это отличие двух типов мышления может быть также выражено как оппозиция соломенного и стального аргументов (strawmanversussteelmanarguments). Диалектика, или критическое мышление, которому учил Платон, — это прежде всего искусство критиковать себя, искусство сильнейших, стальных, а не соломенных возражений себе, как метод движения к истине. Все сочинения Платона составляют примеры такого многоходового мышления, с весьма содержательными, глубокими выводами, многие из которых актуальны и сегодня, по прошествии двадцати четырех веков. В качестве любопытного

примера обращу внимание на восьмую книгу диалога «Государство». Там Платон показывает механизм превращения демократии в мягкую тиранию, где тиран приходит к власти в ответ на народные чаяния по борьбе с олигархами, неизбежно порождаемыми демократией. Далее Платон устами Сократа показывает весьма вероятный переход тирании в жесткую милитаристскую фазу, где тиран теряет друзей, развязывает войны и террор. Одиночество тирана, окруженного вместо друзей льстивыми и трусливыми рабами, лишает его способности адекватного представления о реальности, вызывая тем самым деградацию полиса и военные поражения. Эта логика тирании прокручивалась даже в античной истории много раз, что Платон и отразил. Очевидно, она и будет возвращаться до тех пор, пока люди ее не осознают, не отнесутся к ней со всей серьезностью и не найдут адекватных противодействий. Природные процессы обычно цикличны; исторические же могут выйти из катастрофических циклов лишь благодаря тому, что невозможно для природных: рефлексии и адекватным противодействиям.

Ну и, говоря о Платоне, отмечу любимое — что античная математика развивалась в рамках платонических школ и что отцы математической физики XVII века были, все без исключения, христианскими платониками, что совершенно неслучайно. Язык современной физики математичен, а характер ее аргументации диалектичен, именно в смысле стальной игры за черных. К сожалению, это искусство диалектики усвоено большинством моих коллег лишь в рамках физики. Таковы следствия деградации научного образования до сугубо экспертного, с полным пренебрежением философскими проблемами и предельными вопросами. И увы, эта деградация носит общемировой характер. Массовый человек — он доминирует и в науке тоже. Конкретные задачи «нормальной науки» решаются по преимуществу чуждыми философии экспертами. Оно бы и ничего, но не следует забывать, что фундаментальные открытия в науке никогда не делались теми, кто чужд философии. Не с этим ли связано, что последние фундаментальные открытия в физике — скалярный бозон и гравитационные волны — подтвердили довольно старые идеи, высказанные аж полвека и век тому назад Питером Хиггсом и Альбертом Эйнштейном?

Здесь напрашивается еще и иной вопрос, политического порядка.

В обществе развитой демократии власть формируется на основе волеизъявления большинства. Если это большинство состоит из чуждых философии, чуждых классике потребителей массового искусства и дешевой информационной жвачки, то на какое качество власти могут рассчитывать демократические страны? Тут, пожалуй, впору удивляться тому, что Запад вообще существует, обеспечивая и научно-технический прогресс, и, пусть с серьезными оговорками, основы права. Насколько стабильно такое обеспечение — это вопрос. Не может ли так оказаться, что те сакральные основания, что породили Запад, медленно уходят, обрекая цивилизацию на беспочвенность, неустойчивость и катастрофы? Сакральные основания Запада отнюдь не массовым человеком были созданы, и если вопросы власти переходят в компетенцию близоруких и бездумных масс, то не подобно ли это дереву, чей корень поражает гниль? Похоже, что Запад вступает в новую глубокую неопределенность. Определится ли она откатом в религиозный консерватизм, новое средневековье, неомарксизм, экофашизм, новый христианский либерализм или, упаси Бог, разверзнется война всех против всех — нам знать не дано.

Какова бы, однако, ни была последующая судьба нашей цивилизации, для меня ясно, что осознание ее духовного основания, со всем ее величием и болезненными

проблемами, имеет первостепенное значение как в локальном, так и в долгом времени.

В этой связи поделюсь размышлением о проблеме человеческого достоинства. Об этом много говорят в последние годы, но суть дела нередко упускается, на мой взгляд. Откуда оно может вообще взяться, сознание априорного достоинства личности? В теистической картине мира, теистической онтологии человек есть растущий сын творца всего видимого и невидимого; достоинство человека тем самым и задано на уровне логики и ее эмоционального переживания в формах искусства. В сциентистской же, или материалистической онтологии человек подобен бессмысленному пузырю на столь же бессмысленной воде, и здесь никакого достоинства у человека в принципе быть не может. Такой бессмысленный человек будет либо разлагаться в тоске и цинизме, либо надувать пузыри псевдорелигиозных культов с вавилонскими башнями и кровавыми единствами вокруг вождей всех времен и народов. Да, пузыри будут заслонять Солнце и лопаться — тем быстрее, чем энергичнее их будут надувать и чем меньше общего будут иметь с реальностью порождающие их фантазии. Бегство от реальности в надувание пузырей провоцируется еще и ощущением ничтожества человека во Вселенной, ощущением бессмысленности и тщеты, которое за здорово живешь не преодолевается. Мне могут возразить, что есть в нас еще и нечто врожденное, что само собой протестует против унижения человеческого достоинства. Положим, что так, — но ведь протест этот слаб перед унижающими онтологиями и чувственным восприятием нашего ничтожества во Вселенной; иначе он не терпел бы поражение сплошь и рядом. Я не хочу сказать, что теистическую онтологию можно принять на раз, как таблетку для достоинства, но настаиваю на важности понимания ее значения. Теизм — это не просто какие-то желанные нам слова; он согласован со всем, что мы знаем о Вселенной и человеке, да так великолепно согласован, как никакое иное воззрение. В формах христианства он богато выражен через мощные историю, философию, изобразительное искусство, музыку. И при всем этом богатстве он в принципе не может быть полностью осознанным, ибо восходит к переживанию моей и вашей живой связи с *Mysterium Tremendum*, величественным таинственным началом всего.

На сем обнимаю вас, дорогой Геннадий Мартович. Молю Бога о скорейшей победе добра над злом. Их поляризация достигла такой отчетливости, как никогда не было на моей памяти. Храни вас Бог, дорогой друг.

Как будто в кино

О романе Дмитрия Данилова «Саша, привет!» размышляют

Николай АЛЕКСАНДРОВ, Мария БУШУЕВА и Валерия ПУСТОВАЯ

Мария Бушуева

По пути к тотальному абсурду

Когда пытаются покупателю вручить велосипед, пусть и весьма неплохой, по цене автомобиля, причём продавец на голубом глазу, как говорится, утверждает, что это новый тренд, кто-то из особо внушаемых, поверив и решив, что теперь автомобили именно такие, а настоящие — анахронизм, продукцию приобретёт. Однако не поддающийся суггестии совестливый покупатель может испытать иное чувство: смесь стыда за продавца и печаль сомнения — а не является ли ныне реклама всех автосалонов обманом?

Сходное чувство испытала и я, прочитав, что «Саша, привет!» — это роман. Нет, я не выступаю в роли ребёнка из сказки «Новое платье короля», поскольку сам-то автор ничего не скрывает, сразу обозначая, что читателю предлагается киносценарий («Это будет чем-то вроде кино...»), и обращаясь пару-тройку раз к режиссёру, предлагает дополнить (или не дополнить) тот или иной эпизод: «если постановщику фильма будет угодно, между ними может произойти (или не произойти) любовная сцена». Текст-киносценарий, назовем его своим именем, закручен крепко и явно создавался с коммерческой заточенностью на фильм, но одновременно и на литературную премию — отсюда возникло романное обозначение и встроенная в диалоги реклама, как самих премий, так и определённых издательств — своего рода PR-акция. Все это ныне повсеместно. Несколько удивило, что слегка «попинал» Дмитрий Данилов Ridero, а ведь как раз это издательство делает большое дело, публикуя некоммерческую литературу: в Ridero выходили книги Андрея Василевского, Сергея Костырко, Ольги Балла, Ольги Постниковой и других известных авторов.

Дмитрий Данилов. Саша, привет! / Роман. — «Новый мир», 2021, № 11;

Дмитрий Данилов. Саша, привет! / Роман. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022 — 248, [8] с.

Впрочем, чему удивляться, Данилов однажды сам приоткрыл свое писательское кредо: «Попробуйте представить в тексте современного поэта строчку "цель творчества — самоотдача" (не в пародийном контексте) — и вас наверняка сотрясет жизнерадостный хохот», — доверительно сообщил он. Логично сделать вывод, что антитезис к следующей пастернаковской строке у него хохота не вызывал. В том же эссе («К новой визуальности», «Октябрь», № 11, 2011) Данилов уточнял: «...Текст в большинстве случаев не прочитывается и не слышится. Он работает только как сопровождение визуального ряда». То есть в простейшем варианте тексты должны быть сведены к наглядным комиксам, в более сложном — ориентироваться лишь на воображение потребителя, редуцируя свою художественность. Между прочим, доказано — наглядность как принцип обучения не способствует развитию интеллекта, а воображение читателя развивает как раз нередуцированная литература.

С течением времени что-то в подходе к литературе у Данилова могло измениться. Правда, «Саша, привет!» особых изменений не выявляет: текст максимально упрощён, намеренно упрощённо разделен на эпизоды, а значит, доступен для тех, кто не осилит ни «Процесса» Кафки, ни «Приглашения на казнь» Набокова, то есть книг писателей, чья жизненная самоотдача творчеству очевидна. Собственно, «Саша, привет!» и вырос как бедный росток от ствола с богатой кроной — набоковского романа «Приглашение на казнь». Сюжетный росток, пересаженный на почву актуальных реалий, коих множество: камеры видеонаблюдения, конспирологические версии управления людьми с помощью ИТ, перенос лекций в Zoom и так далее. На этой актуальности текст держится, временами превращаясь в памфлет, временами в аллегорию драматических событий современности — мол, каждый человек сейчас живет именно так, что в любой момент может, по воле случая-постановщика, оказаться в Красной зоне: возможно, автор (или кто-то из его близких) в экстремальной зоне побывал и благополучно вернулся, оттого возник аналог набоковского хеппи-энда — опять же упрощённый. Такое предположение из серии частных гипотез о психологии творчества многое в тексте может объяснить, в том числе — источник аллегории.

Сюжет построен на ожидании исполнения приговора. Некими силами производится «гуманизация правосудия», и в стране вводят смертную казнь «по преступлениям в сфере морали и по экономическим преступлениям» (ассоциации из СМИ возникают сразу). «Как вам уже, кажется, известно, в стране введён режим Общей Гуманизации, в рамках которого возвращена смертная казнь, — объясняют главному герою. — Ну да, можно, конечно, смеяться, издеваться. Но лучше не надо, особенно вам и в вашем положении».

Сергей Петрович Фролов, или просто Серёжа, — преподаватель университета, специалист по литературе Серебряного века, приговорен к казни за сексуальную связь с девушкой: их засекли камеры. Он женат, но аморальность суд видит не в этом, а в том, что двадцатилетняя девушка по новым законам считается несовершеннолетней. Абсурдность приговора в романе Набокова — философская, многослойная, абсурдность приговора у Данилова — чисто социальная. Цинциннат непроницаем для власти и окружающих — вот его вина: кстати, такая символическая вина вскоре может стать вполне реальной. Вина героя Данилова лишена и символизма, и провиденциальной тени — все однозначно.

Автор, по всей видимости, уверен, что читатель будет ждать казни и надеяться на то, что казнь не произойдёт (или произойдёт). Роковой день не определен, а исполнитель

приговора — пулемёт Саша, так его прозвали в Комбинате, — работает по принципу лотереи: приговорённый должен пройти через Красную зону, ему может не повезти — тогда пулемёт его уничтожит, а может и повезти — и герой до глубоких седин будет жить в «гуманном» Комбинате, прилично питаюсь и пользуюсь то своим ноутбуком, то казённым компьютером (все разрешено, можно звонить, можно постить в соцсетях). В Комбинат приговорённый прибыл сам, поскольку благодаря своему смартфону и системе видеонаблюдения, абсолютно подконтролен. В коридоре Комбината «Серёжа видит подвешенный к потолку страшный на вид пулемёт. Несколько дул на круглой штуковине, судя по всему, вращающейся. Это очень угрожающая конструкция, на неё страшно смотреть. Пулемёт выкрашен в белый цвет». Главному герою объясняют, что он вскоре к постоянной угрозе привыкнет: «Будете каждый день видеть его по пути на прогулку. Но я вас уверяю, опять-таки, вы быстро привыкнете. Не будете обращать на этот пулемёт никакого внимания». И Серёжа привыкает: восстанавливается сон, появляется аппетит...

Ситуация сходна с «Приглашением на казнь»: Цинцинната тоже держали в неведении. Правда, у текста Данилова есть существенные отличия от набоковского «родительского древа». Главное — отсутствует художественность как особенность не только стиля, но и восприятия. Текст сценарно прост: «Света в университетской аудитории, читает лекцию...» или: «Серёжа демонстрирует Саше средний палец, глумливо (не свойственно для себя) кривляется, как подросток». Упоминание в тексте лапидарного Добычина в данном случае как ориентир не работает: Добычин даже в построении простой фразы оставался художником слова, вот случайный пример из его прозы: «Он чиркнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы», — сразу образная картина. А язык Данилова максимально очищен не только от образности, но почти что от самого себя, сводимый к функциональности — показу действия или фиксированию диалогов. Любопытно, что автор, делая установку на «визуальный ряд» читающего, совершает некий антиписательский coming out, признаваясь, что описания ему... скучны и не по силам, и он предоставляет читателю (или режиссёру) право самому вообразить происходящее. Понятно, что это концепт и дань одной из модных тенденций — стремлению освободиться от русской и мировой классической литературы, опасно развивающей умы. Но в упрощённости текста есть, возможно, и сверхзадача: герой Набокова приговорён к казни вследствие своей необычности, а герой Данилова, наоборот, такой, как все представители его среды, среднестатистический по всем параметрам. Он как раз проницаем во всех смыслах. Типична его лексика: от ставших уже банальными филологических сентенций до мата, сохранившего энергетику лишь у людей физического труда и выхолощенного у интеллигенции, типична жажда высокого рейтинга в соцсетях и так далее, и все это, вероятно, служит именно показу усреднённости главного героя. Тогда объяснимо, почему диалоги Серёжи с женой так похожи, к примеру, на разговоры пар из современных пьес или на сетевые разборки. Данилов, видимо, стремится к типизации и обобщению массовой примитивизации. И, надо признать, это ему удастся. Удастся и минималистскими средствами придать тексту остроту.

К сожалению, с тринадцатого эпизода острота ослабевает, сюжет начинает провисать. Нарастивание динамики осуществляется линейно, за счёт ввода новых персонажей и повторов, и лишь оттягивает конец. С другой стороны, Данилов как раз мастер намеренных бытовых стереотипий, и при желании в этом его приёме, проведя

линию не от Добычина, а от упоминаемых в тексте обэриутов, можно найти подтекст — философию бесконечно повторяющегося абсурда обыденности.

Как раз на демонстрацию движения общества к тотальному абсурду, на мой взгляд, и претендует «Саша, привет!». Если рассматривать прочитанное под таким углом, закономерно абсолютно всё: от самого текста до авторского самораскрытия в процессе сочинительства, — основная задача отлично выполнена.

Николай Александров

Комбинат Исполнения Наказаний

Это скорее заметки, «эпизоды», коли уж мы говорим о произведении в эпизодах, разные отражения текста, благо такой опыт в русской критике есть.

Хочется начать с формы, тем более что автор так демонстративно, так подчеркнуто ее предьявляет.

Это как будто не роман. Это вроде бы киносценарий. Хотя романом сегодня можно назвать все что угодно. Киносценарий в этом смысле жестче. Ну, просто потому, что ориентирован на производство. Что он не сам по себе вещь. Не готовый продукт, а болванка, из которой еще вещь нужно сделать. А здесь автор делает вид, что он как будто пишет сценарий. Что он вводит в повествование камеру, смотрящую на героев и мир. Или даже что он не снимает, а смотрит кино. Он отстранен. И если он и может как-то вмешаться в выстраиваемый, конструируемый им мир, то лишь механически. Скажем, промотав эпизоды. Или, может быть, если он все-таки и оператор, и режиссер, подправить что-то при монтаже.

Но все же автор — больше зритель. В игру персонажей он не вмешивается. В их душевный мир особо не залезает. О переживаниях героев читатель может судить лишь по репликам, движениям, позам, жестам (сказывается опыт Данилова-драматурга). Внутренние монологи отсутствуют. Ремарки автора вроде бы носят чисто технический характер.

И тем не менее слова «как будто» — здесь самые важные. Ведь не случайно в тексте постоянно и настойчиво подчеркивается — это кино. Но если автор романа (прозаического текста) так откровенно и прямо указывает на то, что он выступает в маске зрителя-режиссера-оператора и, ведя повествование, говорит: «мы видим героя (героиню) там-то и там-то», — или: «камера следит за человеком», — он не перестает быть автором романа (прозаического текста), а, наоборот, дает понять, что он не сценарист, не режиссер, а просто использует такой прием, такое письмо, такую форму.

Кстати «камера следит» не только извне, но и изнутри. То есть следит за героями не один автор, но и скрытые камеры в той действительности, которую нам показывают (несколько указаний на это от повествователя есть в тексте).

Данилова трудно цитировать. Собственно, эта его особенность была и в «Описании города» (кстати, описание города — Москвы — в той же поэтике есть и в этом тексте), и в «Горизонтальном положении». Данилов мастер банальных зарисовок, фиксаций, простой номинации, голых указаний на объект. Он не боится тавтологий, напротив, строит свой текст на повторах, возвращениях, топтании на месте, бесцельном движении, которое порой никуда не ведет, вроде бы ничего не объясняет.

«Человек идёт туда, куда он шёл. Он идёт, идёт и наконец приходит туда, куда он шёл». Зачем это нагромождение *идет*? Между прочим, затем, чтобы подчеркнуть несценарное письмо: человек идет, мы еще не знаем куда, но видим, что у него есть цель. Вполне себе художественный прием.

Или: «Человека зовут Сергей. Серёжа». Забавно, потом мы узнаем, что его зовут еще Сергей Петрович, Сергей Петрович Фролов.

Или: «Многоэтажный дом, много этажей».

Как будто автор затрудняется в описании того, что видит. Пытается подобрать точные слова, заменить их другими, но возвращается к тем же самым:

«Серёжа нелепо скачет на одной ноге, пытаясь развязать шнурки, и они от его скакания только ещё больше затягиваются, и он просто стаскивает обувь с ноги, насильно стаскивает, через сопротивление, и потом долго пытается, держа в руках обувь, развязать ненавистные, не подчиняющиеся шнурки, и у него сначала плохо получается, а потом к нему всё же приходит успех, и он снимает другую обувь с другой ноги уже относительно легко, или, как это лучше сказать, "снимает обувь" — это ведь когда человек просто снимает всю обувь, которая на нём, то есть оба предмета обуви, а когда он сначала снимает только один предмет обуви и борется с ним, то тут нельзя сказать "снимает обувь", потому что обувь — это оба предмета обуви».

Зачем, кстати, такие оговорки в сценарии?

Язык, намеренно обесцвеченный, как будто серый, ориентированный на повседневность, обычность, на не замечаемый (потому что постоянный) жизненный фон, поток привычного существования. Реплики героев, уклоняющиеся от существа, то есть вербальные реакции, вскрывающие, как правило, нежелание (невозможность) коммуникации. То есть чаще всего персонажи уклоняются от ответов на вопрос и не особенно желают высказывать свое мнение.

Язык протокола. Во всех смыслах слова. Юридическом в том числе.

«Фролов Сергей Петрович... находясь... будучи... вступил в сексуальные взаимоотношения с лицом, не достигшим совершеннолетия... двадцати одного года... Мещерской Илоной Викторовной, 28 декабря 2004 года рождения... на добровольной основе... без применения насилия... по предварительному сговору... с согласия потерпевшей... свою вину признал... показал, что... показала, что... вину обвиняемого не признала...»

Но здесь мы подходим уже к другим особенностям даниловского текста.

Гуманным правосудием Российской Республики Сергей Петрович Фролов за совершенное преступление приговорен к смертной казни. Приговор будет приводиться в исполнение на Комбинате Исполнения Наказаний. Здесь заключенный находится в достаточно комфортных условиях: не камера, а гостиничный номер, телевизор, компьютер, телефон, интернет, хорошее питание. Сад. День исполнения приговора не известен. Но однажды, по дороге на утреннюю прогулку, заключенного должен расстрелять пулемет по имени Саша.

«Вас каждый день будут выводить на прогулку, в один из разов сработает автоматический пулемёт и расстреляет вас. Может сработать на пятый день, может через тридцать лет. Как повезёт».

Как замечательно это «в один из разов»!

Насильники и убийцы, кстати, и от Комбината, и от смертной казни избавлены, то есть отправляются в обычную тюрьму.

Все буднично, доброжелательно, вежливо, в меру бюрократично: возьмите талончик, заполните формуляр, не хотите ли кофе, чаю — или коньяк? — пройдите собеседование.

«Вы, конечно, знаете, что у нас в стране в порядке национального проекта гуманизации правоохранительной системы введена смертная казнь за ряд преступлений. В том числе вот по вашей части тоже. Смертная казнь максимально гуманизирована».

На Комбинате — не охранники, а доброжелательные отельные лакеи. Есть православный священник, психолог, волонтер-социолог, раввин, мулла. Даже лама. Услуги не навязываются. От них легко можно отказаться. За побег не наказывают (стремление к свободе уважается), но сбежать невозможно.

Мир антиутопии, сразу хочется воскликнуть. Кафка, Набоков. Но, собственно, Данилов этого и не скрывает. Более того, акцентирует явную, скажем так, филологичность романа. Среди упомянутых в тексте писателей не только Виктор Гюго (с его приговоренным к казни), но Пильняк, Пастернак, Добычин. Нет Камю. Нет Достоевского. Но читатель и так вспомнит и «Идиота», и рассказ Фёдора Михайловича о собственных переживаниях в ожидании смертной казни. И его восклицание в письме к брату: «Жизнь есть дар, жизнь есть счастье».

И финал романа, конечно же, сразу вызовет в памяти финал «Приглашения на казнь». Плюс к тому у Данилова все главные герои филологи: и Сергей, и его мать, и его жена Света. Даже повстречавшийся Свете в отпуске молодой человек — и тот писатель. Этот мир как-то уж даже слишком филологичен. Но, может быть, в этом-то все и дело.

Данилов конструирует реальность, в которой слова потеряли силу, в которой стерлись смыслы, угасла воля. Эта вроде бы фотографически (кинематографически) переданная действительность с узнаваемыми, повседневными реалиями, магазинами, домами, бульварами, метро, социальными сетями (и неизменными комментариями, как же без них) как будто наполнена пустотой, зияет опустошенностью, небытием. Понятно, что эвфемизмы, речевые табу (скажем, тот же Комбинат, где не говорят «добрый день» и «до свидания», где побег не имеет смысла из-за системы Добровольного Возвращения), — чуть ли не обязательные приметы жанра антиутопии, где просто нельзя называть вещи своими именами. Пользуется, правда, этим Данилов тактично, и текст эвфемизмами не утяжеляет.

Но ведь и герои не говорят по существу. Более того, сразу предпочитают не говорить. Даже те, кто вроде бы должен. Раввин, православный священник, мулла, лама не рассуждают о вере и Боге, не ведут онтологических или философских бесед. В лучшем случае могут поддержать разговор о футболе. Или просто молча посидеть. Они вынужденно оказывают услугу, заранее уверенные в бесполезности и ненужности своих посещений, и сразу предлагают Сергею отказаться от таких встреч.

Смыслы исчезли. Сущности растворились. Осталась жалкая бытовая оболочка. Обескровленные слова. И неизбежность смерти. Один сплошной Комбинат.

А главное — нет воли. Нет силы. Нет даже намека на то, что этот мир симулякров, погрязший в вялой филологии, может быть изменен, разрушен, преодолен. Что герои сами могут вырваться отсюда, своими действиями, гневом, отчаянием пробить стены этого мира, прорваться сквозь собственную слабость и апатию, обреченность, порабощенность.

Здесь и любовь бессильна и как-то не уверена в себе. Не вдохновляет, не понуждает к героизму. Или безумству даже. Она бесстрашна или робка. Она не говорит, не проявляет себя. Она тоже бессловесна.

Отсюда нет и не может быть исхода. Просто по определению нет. Ну и плюс Добровольное Возвращение, конечно. Оно работает не только на Комбинате, оно пронизывает все вокруг.

Что же остается. Остается самому демиургу, автору-режиссеру-наблюдателю под финальные титры сказать свое слово. И единственный выход или исход — миру этому саморазрушиться, быть расстрелянным пулеметом Сашей. Тем самым выполняется и непреложный художественный закон: ружье, да еще столь заметное и награжденное собственным именем, не может не выстрелить. Оно и стреляет в финале. По-настоящему. И зримо.

Потому что до этого уже один раз раздавались выстрелы холостыми (Сергей услышал их во сне и проснулся). Холостыми. Тоже, между прочим, символично. С кем тут бороться в этом побежденном мире? С уставшими безжизненными филологами?

Валерия Пустовая

Звезды тащат

Антиутопией критик Евгения Лисицына предложила роман не считать¹. Почему бы тогда не прочесть новый роман Данилова как книгу о любви? «Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви — бесцеремонным...» — и так далее, как напечатано на листовке «Без любви», приколотой к доске объявлений в храме. Замечаю, что внизу листовки какой-то прихожанин приписал от руки свои телефон, возраст, рост — тоже без любви оставаться не хочет. Два рода любви в последних по времени произведениях Дмитрия Данилова соседствуют. Любовь к жизни, теплое внимание к реальности и степень искренности любовных отношений героя таинственно связаны. Герой пьесы «Человек из Подольска», у которого с героем нового романа совпадает дата рождения, не может вспомнить цвет двери в родном подъезде — и пренебрежительно отзывается о своей девушке в присутствии сексапильной милиционерши. Герой пьесы «Серёжа очень тупой», который

¹ «Саша, привет!» Дмитрия Данилова: ЗА. Евгения Лисицына — о том, почему это вовсе не антиутопия // «Горький» от 14.03.2022. <https://gorky.media/reviews/sasha-privet-dmitriya-danilova-za/>

с героем нового романа совпадает в имени, опекаем женою — и презираем ею за невосприимчивость к сути вещей. От этих знаменитых героев-пленников из пьес Данилова (первого ни за что удерживают на допросе в полицейском участке, второго маринует на дому команда курьеров, доставивших посылку, которую он не заказывал) Серёжа из романа наследует вялость сопротивления и бедность любви. Даже анекдотично, что он, преподаватель-филолог с дистиллированным обаянием и робким драйвом, попался как ловелас — приговорен к расстрелу за мимолетную связь со студенткой.

Образ подставившей женщины неожиданно разнообразен в романе — до того, что становится символом. В последний раз выбравшись в центр Москвы, герой ловит себя на бесчувствии: «Сейчас это не Москва, которую он всегда, с детства до дрожи любил, а часть реальности, которая приговорила его к смерти. И прощание получается чем-то вроде прощания с предавшей тебя и осудившей тебя на смерть матерью, как-то так». Любовница, не открывшая свой возраст, подводит героя под приговор за связь с несовершеннолетней. Жена, не простившая измену, высмеивает безвыходность его положения. Мать, не выдерживающая страшного поворота судьбы, отказывается выслушать. При этом первая выпрашивает героя, любит ли он ее, вторая провожает его до тюрьмы, третья с нежностью предается воспоминаниям о его детстве.

Вопрос о том, кто из этих женщин героя действительно любит, кажется таким же пустым, как вопрос о том, служитель какой из четырех религий, дозволенных для окормления заключенных-смертников, приносит герою настоящее утешение. Мы так привыкли к монотонности и повторяемости описаний Данилова, что легко игнорируем тонкие различия. Между тем даже сотрудники Комбината — тюрьмы, где осужденные ждут исполнения смертного приговора, — сработаны в романе штучно. «Ну ты известный садист», — отзываются охранники о своем начальнике. И об одном из постоянных конвоиров героя автор сообщает: «Как только надо серьезно поговорить, дежурит Антон (замечает Серёжа, хотя неизвестно, соответствует ли это действительности)», — сказано вскользь, и, на сторонний читательский взгляд, Антон этот не выделяется, однако именно с ним герой совершит финальный выход на прогулку, прочитываемую как запредельное шествие, собирающее всех персонажей романа и наконец явно высвобождающее Серёжу из стен тюрьмы. Так и служители культа: являются в камеру с однотипными формальными вопросами и заготовленным бланком отказа от духовных бесед — но покидают по разным причинам. И то, что дольше всех удерживается возле героя христианский священник, прочитывается не как торжество православия — а как личный подвиг отца Павла.

Антиутопия — антураж. Слой в романе самый плоский, зато твердый. Земная кора, благодаря которой читателю пекло не поджигает подметок. Таково же было значение полицейского участка и конторы курьеров в упоминавшихся пьесах Данилова, доводивших до абсурда идею произвола и навязанных услуг. В пьесах герой казался жертвой, целиком зависящей от злой воли вторженцев в его частный мир. И только примеряя его реплики на себя — а жанр пьесы располагает слушать и соучаствовать, — зритель мог ощутить давление иного рода: принуждение к ответственности, а значит, к свободе. Парадоксальным образом только в плену у полиции и курьеров герой осознавал несвободу как привычку всей своей жизни. Притеснители оборачивались вестниками, понукающими его зажать в полную силу. И пока мы вместе с героем

возмущались абсурдными претензиями к нему, действие пьес показывало, как нелепо существовал он сам, в унынии и вялости растрачивая время жизни.

Об исчезновении «метафизической изнанки» в новом романе Данилова сожалеет критик Андрей Мягков¹. С выводом поспорю, а вот слово удачное: и без этой «изнанки» роман может быть прочитан убедительно. Вот только не полно. В «сверкающей» антиутопии Данилова: «великолепная» Москва, «цветущий» сад, «сияющая» тюрьма, «гуманная» система, «очеловеченный» пулемет — много инерции жанра и мало его самого. Руку Данилова отследить как никогда трудно — потому что она ведет читателя не этими нарочито сигнальными словами, а, наоборот, по словам-камешкам, совсем простым, даже — стертым.

«Человек идет, куда он шел. Он идет, идет и наконец приходит туда, куда он шел», — в этом как будто бессодержательном утверждении, замыкающем первый эпизод романа, для меня вся музыка его и ужас.

Чем меньше «информации» — слово, повторяющееся вначале, на входе в карательную «машину» («Нехера в нашу машину попадать», — пересмеиваются охранники Комбината), — тем тут точнее. Информированный текст приговора отчужден от героя и потому воспринимается как лишенный содержания — автор легко позволяет себе купировать его. Зато состояние героя после приговора отображается куда как точно фразами типа: «Вот это все опять». Так и в диалогах, на которых роман строится: чем больше видимой содержательности — тем тщетней контакт. Мать готова обсудить Пастернака, жена расспрашивает, как Серёжа погулял напоследок, студенты рвутся к подробностям о быте осужденного препода. И все это — способы умолчания, нечувствия, игнора.

Вершина драматургического искусства Данилова — в диалогах, полных смысла именно тогда, когда героям нечего сообщить друг другу. Так, первые диалоги Серёжи с его женой Светой блистают сарказмом, но по-настоящему завяжется разговор, когда она скажет, что его для нее теперь будто нет — а он не найдет слов, чтобы уверить ее в обратном.

Или «сияющее» абсурдом объяснение Светы со студентом, в котором прием повтора действует особенно драматично. Студент расспрашивает — а она отказывается отвечать, и все это в одних и тех же выражениях: «Светлана Игоревна, а правда, что ваш муж сидит в тюрьме и будет расстрелян?» — «Вы понимаете, что моего бывшего мужа скоро расстреляют?! Вы это понимаете или нет?!» Что доказывает ее крик? Уж конечно, не сам факт, что мужа расстреляют: студент информирован об этом, и оба собеседника знают, о чем говорят. Но в том и дело, что знать в прозрачном, не оставляющем вопросов об основаниях и процедуре расстрела, романе Данилова — мало.

То, как назойливо Серёжа напоминает каждому из собеседников, что его «скоро» расстреляют, — показатель непробиваемой стены между ними. И — пропасти между знанием и осознанием.

Тут еще одна ловушка для читателя: выдернувшись из наезженной колеи антиутопии, сесть в философскую лужу. Мудрствованием в романе занимаются все,

¹ В ожидании расстрела: как устроен новый роман от автора «Человека из Подольска» // «Афиша Daily» от 21.01.2022. <https://daily.afisha.ru/brain/22252-v-ozhidanii-rasstrele-kak-ustroen-novyy-roman-ot-avtora-cheloveka-iz-podolska/>

кроме, пожалуй, охранника, который под дулом пулемета говорит осужденному Серёже: «не ссы». Всеобщая мудрость прозрачна и бесспорна, как месседж, что казнить — плохо. Завкафедрой первый применяет болеутоляющее «мы» — столь же условное, как «мы» научное: «Все мы когда-нибудь умрем. Что уж так убиваться». На что Серёжа возражает: «Есть все же разница».

Так есть или нет? Есть ли разница в положении героя — и, к примеру, читателя? И в том ли она, что герой в ожидании смерти вынужден «вот так прозябать. Без семьи, без друзей, забаненный в интернете... жить вот так вот, на всем готовом, просто жить, существовать вот так», — тогда как средний читатель ожидает смерти иначе? Есть или нет? — такой вопрос ставят перед Серёжей Света, признаваясь, что не чувствует его живым, и тюремный психолог, заявившая, что для ее работы с клиентом «важно будущее», а приговор героя будущего лишил. То, что осужденный продолжает «существовать», несмотря на несуществование, — абсурдное заострение вопроса. Что же именно есть, кто же там существует, когда — нету, вышел весь? Или наоборот: чего же нет, кто именно перестал существовать, когда остался тот, кто теперь говорит: «Но я есть. Вот, я есть»?

«Определенность» — это слово появляется в романе в связи с битвой религий. Одно это слово герой признает «мощной проповедью» муллы, когда тот говорит, что в определенности — главное «преимущество ислама». Напротив, христианство в отображении отца Павла кажется Серёже «неопределенным», и отец Павел не спорит: «Просто, как надо — мы не можем, а как мы можем, это не дает никаких гарантий. Такая религия. Несколько проблемная». И в свете этой «проблемности» избегает давать рекомендации, как жить приговоренному к казни.

«Все мы когда-нибудь умрем» — трюизм, наименее доступный инсайту: знать — мало, нужно осознать, но это как раз ускользает. Разница между приговоренным и «всеми-всеми-всеми» остальными кажется незыблемой, очевидной и краеугольной для понимания его положения. Но если вчитаться — она растворится с пшиком. Обреченность пропитывает роман. И даже те, кто приходят помочь герою, не властны посмотреть на него сверху вниз: тюрьма без выхода — «не лучшее место работы». Особенно пронзительно звучит рифма между Серёжей и общительным раввином, которого однажды автор провожает домой — и показывает двойником приговоренного, стиснутым и вопиющим: «Борис Михайлович <...> стоит <...> теснимый разными мелкими предметами. <...> Борис Михайлович отпивает немного водки из стакана и говорит вполголоса: почему так. Почему все так. Почему это все так. Господи, почему все это так. Господи, скажи мне, почему это все вот так».

Очень точный жест: раввин произносит свой монолог после того, как на прощание обнял приговоренного Серёжу. Обнялись они потому, что признали друг в друге симпатичных, сходных интересами собеседников. Но и простились — по той же причине. Роман Данилова бежит от информации к провалу понимания, от разговоров — к молчанию. Отец Павел преодолел барьер слов: приходит «просто посидеть» в камере героя и уходит, когда тот в его присутствии тихо засыпает. Свободный выбор соучастия в молчании противостоит в романе принужденному удерживанию от общения: в «цветущем» саду тюрьмы Серёжу предупреждают, чтобы не лез с разговорами к другим заключенным. Отец Павел воплощает полноту молчания, смысл тишины — разобщенные фигуры приговоренных в саду выражают отчаяние быть услышанными.

Утешение без слов — это дело любви — сравнимо с другим, совершаемым в ситуации еще большего провала контакта, разрыва смысла: навсегда разделившись, жить общую жизнь. Как получилось, что саркастичная жена, тыкавшая жалкого мужа в факт его обреченности, — живой гимн супружеской любви? Тогда как мать героя, признавая, что его новый статус для нее невыносим и ей «надо как-то держаться», сливается в романе с образом реальности обречшей на смерть. И виновата ли мать — ведь кто, как не она, обрекла на смерть, когда-то Серёжу родив? И виновата ли реальность — если мы живем, под собою не чуя ее?

Вдруг оказывается, что токсичная прямота Светы, в отличие от экивошной ласковости охранников, принужденной чуткости окормителей, топорного простодушия студентов и беспомощных сетований самого приговоренного, выполняет главную работу: не упускает из вида «потенциальную мертвость», не дает заболтать боль. От обманутой жены герой — да и читатель поначалу — меньше всего ждет понимания. На словах они расходятся все дальше. Но роман не дает соврать, композиционно сводя далекое, сочетая разъединенных. Серёжа и Света вместе следуют в тюрьму, согласно признают невозможность бегства, параллельно отстранены от преподавания и, наконец, одновременно и единодушно — хотя она на море, он в тюремном саду, хотя о том не ведая и друг друга не видя — «сидят» в сторону смерти, подобно тому как психологи сегодня советуют в сторону цели хотя бы «лежать».

Света не живет после приговора Серёже — в том же смысле, в каком не живет после приговора он сам. Но жил, жила ли раньше? Есть или нет — этот вопрос возникает в романном *сейчас*, но намеки позволяют задать его и прошлому героев. «Человеку в его нынешнем положении трудно улыбаться», — открывает нам роман главное о Серёже. Но каково ему было улыбаться раньше?

Человек «идет туда, куда он шел». И ужас в том, что он, «наконец, приходит туда, куда он шел». Но в том же и — музыка. Правда неразлучима с красотой потому, что, кроме правды, и смотреть-то не на что: нет ничего красивее правды, потому что ничего кроме нет. И пулемет в романе красив, хоть и «страшный на вид». Он «выкрашен в белый цвет», как ангел на картине.

Между Серёжей до приговора, о котором мы не знаем ничего, кроме того, что он волочился без любви: любил бы — не ответил бы несовершеннолетней любовнице, что это «сложный вопрос», — и робел перед правдой: жена припомнила, что ей «приходилось многое говорить» за него, — и Серёжей после приговора разница одна: осознание. Расстояние между Серёжей и читателем не измерить ни в мигах — осознание вырывает из времени, — ни в микронах: под дулом того, куда идет всякий человек и куда он наконец неизменно приходит, любые иные оковы тяжкие падут, темницы рухнут.

Роман о любви к смерти — чем не трактовка? И вполне в русле эволюции Дмитрия Данилова, научившего нас полюбить реальность и себя, реальных. Смертность без любви делает человека — каким? Вот таким, как любой герой романа: принужденным, пустоговорным, глухим.

Герой Данилова зафейлил протест — но в его пошагово, поденно растущей решимости вступать под прицел и пройти коридор смертника, как иные не умеют пройти юдоль жизни: «самому, самому», распрямившись, уверенно, — видно абсурдное, никому не предъявляемое достоинство. Конечно, и тут сказывается мерцающая, «изнаночная» метафизика Данилова: держаться, несмотря на перспективу смерти, —

род человеческой привычки, укрепляемой от повторений. Но разница — есть, хоть и тонкая, как аура: держаться, осознавая эту перспективу, — уже не бегство от правды, а подвиг с ней жить.

Иные рецензии эффектно заканчиваются, как сам роман: грозным образом пулемета. Я же хотела бы отмотать назад и бросить свет на мимолетную, бессловесную, почти невнятную и точно не информативную сцену: пройдя страшный коридор под прицелом пулемета, Серёжа останавливает охранника Антона и что-то ему говорит, а Антон слушает. Автор ненавязчиво, в скобках обособляет этот не слышимый нами разговор — от рутинных, на публику диалогов героя с охраной: «Антон кивает, приобнимает Серёжу (это нехарактерно для их общения), и они идут дальше, в парк».

Для меня соль финала — в этой почти неразличимой разнице, недоказуемой перемене. Чтобы еще меньше подчеркнуть и без того не бросающуюся в глаза сцену, Данилов напоследок снова прокручивает рутинный эпизод тюремного быта Серёжи — прежде чем картинно даровать ему свободу. Чисто метафизическую, конечно. «Изнаночную».

Нет, «Саша, привет!» не антиутопия. Роман-пророчество. В феврале этого года каждый получил возможность осознать себя перед лицом превосходящей человека неизбежности. Травму перехода Дмитрий Данилов проговорил за нас. Я читаю, как герой его прощается с прежней реальностью, и чувствую тихое утешение книги, которой нечем мне помочь.

Александр Чанцев

Иные маршруты звездолёта Земля

6,3 книги по философии, теории будущего и не только

Русский космизм, идущий от идей Николая Фёдорова, помимо радикальности своих идей — воскрешение всех мертвых, преобразование, возвышение человека на другой духовный уровень, освоение космоса и так далее — необычен еще и тем, что с этим течением так или иначе ассоциировались (примкнули, «приписали», обращались к спектру воззрений после) довольно многие и очень разнообразные мыслители. Все это заставляет, как и актуальность учения (двуплановая — и ученые обращаются к нему, и что-то из идей вдруг обретает вторую жизнь), пристальнее присмотреться к этому феномену, показывающему, что и крайне маргинальные, казалось бы, идеи не умирают, но возвращаются.

Тем более что посыл, девиз даже не только этого философского течения, но и широкого поля рассматриваемой в статье философской мысли можно и нужно оценивать в свете сформулированного еще Аристотелем в «Никомаховой этике»: «Нет, не нужно следовать увещаниям “человеку разуметь человеческое” и “смертному — смертное”; напротив, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе, право, если по объему это малая часть, то по силе и ценности она все далеко превосходит».

Реконкиста гуманитарности предстоит. Так чую...
Литература сейчас — на пороге Мысли. В 50—60 гг. — поэзия, в 70—80 — проза.
А сейчас — Мысль требуется. Ан не умели, отвыкли, да и не давали, бояться...
А мысль — дело гуманитарное.

Георгий Гачев. «Философия быта как бытия»

1. Незаочное постижение

Георгий ГАЧЕВ. Философия быта как бытия. — М.: Фонд «Мир», 2019. 712 с.

Я решил, вне хронологии развития философской мысли, начать этот обзор именно с книги Георгия Гачева не только потому, что как раз по году издания его книга должна быть в начале, но и по другим причинам. Гачев точно не очень вписывается ни в какие школы и течения, вряд ли относится к магистральным направлениям мысли и совершенно точно обделен вниманием, рецензиями, премией в его честь, как

в честь Пятигорского, не назвали. Однако в каком-то идеальном хотя бы развитии мира такая свободная, внеинституциональная философия точно займет высокие места — в том гамбургском соревновании, что гораздо интереснее смотреть, чем какие-нибудь UFC.

Жизнь Гачева — пример, при всех приметах того времени, подобной независимости. Он даже и чужой, Другой отчасти и даже дважды — сын иностранца, болгарина, и сын «врага народа». «Иностранный элемент» можно и увеличить — в автобиографии из «Жизнеописания» в конце, что читается как повесть из советских лет, он пишет о своих болгарской и еврейской бабушках. Отца, приехавшего в Советский Союз со всем энтузиазмом того раннесоветского строительства и братства, образованнейшего, артистичного музыковеда и не только, посадили. Он руководил воспитанием сына в письмах из лагеря. После МГУ Гачеву предлагали вполне многообещающее и хлебное место в московском издательстве — а он взял и распределился в провинциальную школу. Нет, потом вернулся, работал в ИМЛИ, писал, вдохновленный Гегелем, Ильенковым, визитами к Бахтину (по автолегенде, встал перед ним на одно колено), дружбой с Вячеславом Ивановым, другими. Но мотив бегства, кажется, присутствовал всегда. То покорение горных вершин (да, эмблема того времени), то (отчасти тоже) наскучила рутина, и решил попробовать свои мужские, физические качества: все бросил, уволился и работал матросом, токарем в Молдавии, разнорабочим. Вернулся. Конечно, был слишком свободен для того времени и увлекся, например, темой сближения гуманитарных и точных наук — стал проводить параллели между Маяковским и биологией, электромагнетизмом и романтизмом. Вольный стиль, еще более вольная мысль и подобная междисциплинарность еще до изобретения этого термина — после очередной работы последовало шельмование в центральной прессе, издательства стали для него закрыты. И Гачев сбежал уже окончательно: писать в стол, для себя, ничем не связанный, возделывать сад¹ около своего дома, ручной труд он очень любил.

К этому все вело, потому что как и для героя предыдущего обзора, Блейка², едва ли не самым важным было — воображение, а свобода — это единственная форма его функционирования. «В нем — воля к жизни, движению, тогда как в мышлении — воля к смерти, небытию, к “нет!”, к опустошению, к статике». Отметим не только цветаевские почти тире (далее их больше), но и то, что философ, мыслитель сходу отшвыривает мышление. Ему важнее другое: «И вот способность Воображения в нас стоит у врат входа в новое — чтобы его впустить в нас, добыть и срастить с чем-то уже известным нами. Оно — представитель Будущего, его полномочный посланник в государстве нашего познания. Оно всегда забегает вперед и заносит: идеал, мечта, надежда — это все его сопутники и двигатели волевые». Вспомним и любовь Блейка к заглавным буквам — что-то другое он вкладывал в слова, видел «сны о чем-то большем». О чем говорить или молчать.

Погиб, сбитый поездом на станции Переделкино, Гачев в день католической Пасхи, а по православному календарю — в день памяти святителя Григория Паламы, отца исихазма. Выводивший свою мысль буквально из всего — солнце жарит в саду или с женой Светланой Семёновой вдруг поссорился, — Гачев, возможно, многие бы страницы тут написал про такое совпадение дат и на ж/д путях смертное падение. И о том, что ушел, бурный и говорливый, в молчание, и про будущее воскрешение пасхальное.

У автора концепций (ускоренного развития литературы), многотомнейшей серии «Национальные образы мира» и таких разных книг вроде «Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке», «Русский Эрос», «Осень с Кантом» и «Музыка и световая цивилизация», представленные в этом сборнике (доходящего неизданного, переизданного, не важно, главное, книга теперь доступна) вещи, возможно, не самые главные. Тем более что главное у него было все. Тут показательно и прозвище его отца «разум восхищенный», и сама концепция этой книги — возгонка быта в бытие, не игнорирование считающегося низовым, но, наоборот, сугубое уважение его мыслью. «Художественные рассуждения, большие и малые эссе, из которых строится книга, написаны мною хотя и в разное время, но скреплены единой установкой зрения: брать состояние живьем, а мысль — *in statu nascendi* (“в момент рождения” — *лат.*), в коротком замыкании со своим предметом. Тогда они еще остры, достоверны и не отполировались. Мой азарт — добывать первичные опыты, охота на первоудивления».

«Утро восьмое. Холодок некий охватывает, трепет: присел на утренний сеанс мышления, а с чего начать и куда-то занесет?..» «Первоудивления» важны по нескольким причинам. Во-первых, философствование тут во многом дневниковое, очень свободное, в не столбовой, но богатой традиции — от Розанова до Библихина. Во-вторых, важен именно момент схватывания мысли, во всей ее первозданности, в том виде (может, чуть сонном, затрапезном, не в парадных одеждах), в каком она явилась и осенила, до и вообще без наделения ее обычными коннотациями, результатами мировых штудий и конвенций, без набора цитат. А с набором — себя и ее, человека перед лицом мира и мысли, себя и сада. Не потому ли, кстати, что на шумных улицах и многополосных шоссе мысли было уже не найти ничего стоящего, философия с прошлого века шла иными путями, дальше в лес, где больше дров? Хайдеггер — по лесным тропкам из своей хижины, Юнгер призывал к «уходу в лес», Библихин и о лесе писал, и о другом начале, что где-то там исток берет.

Даже можно и не удивляться, что мысль отталкивается у Гачева, берет разбег от совсем повседневного, неожиданного, столь разного: собака, сад, чайники и кусок сахара, прищепка, корова, телевизор, мобильный, Кант, постперестроечные новости, что только не. Даже необязательно сравнивать с Розановым — вообще, все сравнения с его полифонией чреватые одномерностью, но это другая большая тема — и с его прыжками мысли от рассматривания собственной нумизматической коллекции. Но пишет, мыслит Гачев от — семьи и верблюда, актрисы Чуриковой и отключения электричества, критики и футбола, фильмов и радио. «Итак: мысль по ходу жизни и как участник в ней и — главное — в принятии решений, в их завязи, в этом звене, — и в этом отличие “жизнемысли” от других разнообразных форм “разрозненных мыслей”, зарисовок и “эссе”. Мышление — без отрыва от производства жизни, не заочно к ней (“незаочное постижение” — так красиво назывался принцип древнеиндийского философа Шанкары)».

Даже можно и не напоминать о том, что быт и подобная «бытовая» философия важны сами и сами по себе. Как писал евразиец П.Сувчинский, не только «в силу напора поступательного устремления быт плавится, развеществляется и гибнет», но и «пускай русский быт во многих отношениях был слепым и темным, но он заслуживал внимания и любви, потому что в нем раскрывался дар русского боговидения»³.

При не заочном, а лицом к лицу, даже лоб в лоб, постижении может быть разное, от восторгов (много) до негатива и ссор с реальностью явленной (меньше⁴). И точно зачастую мысль выступает в парадоксальном ракурсе. Меломан, многие пассажи посвящающий любимой музыке из радио и коллекции пластинок, Гачев пишет: «Смирения нет, кротости у музыкантов-композиторов, а самовосхищение и сотворение себе кумира — из музыки-то. Развитие музыки — болезнь. Прекрасная, сладкая, но — болезнь цивилизации». А описывает, воспринимает так вообще: музыкальные инструменты — «как технико-трудовые орудия для возделывания вещества природы, так эти для возделывания вещества существования, вещества Психеи, мировой душевной реальности — все эти тубы и трубы, и отвертки флейточек и фрезы тромбонов, и домны органов, и токарные станки фортепиано». Это другая, избитое за свою модность слово взять если, оптика. Растут ли растения из земли вверх или из неба: «...обдумывая Город и Растение как виды вертикали мировой, оси, — понял, что Растение можно двояко толковать: как выталкиваемое из Земли вверх и как высасываемое Небом из Земли, как растущее сверху, из пустоты пространства, из поля образа и полной формы, чем станет в совершении». Впрочем, и с оптикой-зрением отношения можно отличные от общепринятых узреть: «...И вообще я почувствовал себя врагом зрения. Смотреть можно на вещи, предметы, но на человека смотреть нельзя: это превращает душу в вещь, предмет, овеществляет духовное, акт отчуждения учиняет. Недаром по традиции: душа и дух бестелесны; а тут кумирный подход и к ним совершается: превратить тайну и глубину — в видимость-кажимость и плоскость-маску-личность. Зрение — акт секуляризации, светскости...»

Но интенция у Георгия Гачева, конечно, не сокрушение всех основ философским молотом и не фразирование оригинальностью суждений, но — приближение мысли к феноменальному, проще говоря, к жизни, сращение с ней, осознание себя и ее в процессе познания, да и жизни. Быта. Что, хоть и всегда бытие, сохранить как минимум нужно. «Как догадалось человечество завести Красную книгу Природы, куда вымирающие виды заносят, так и должно нам завести, пока не поздно, Голубую книгу Духа, куда странные слова, мысли, идеи, теории заносить бы — на сохранение, а то разрушим — и не сможем припамятовать и понять их сказ, когда понадобится снова...»

2. В борьбе с метафизической инфляцией

Анастасия ГАЧЕВА. Человек и история в зеркале русской философии и литературы / Отв. ред. Е.А.Тахо-Годи. — М.: Водолей, 2021. 700 с. (Серия «Русская литература и философия: пути взаимодействия». Вып. 5).

Про эту монографию с нейтральным названием — вышедшую в замечательной серии, над которой работают/ли Е.Тахо-Годи, Т.Касаткина, покойный О.Коростелёв и многие другие авторы, исследующие скрещенья русской мысли и литературы, — проще сказать, чего и кого тут нет. Есть — практически все, от В.Одоевского и П.Чаадаева до Д.Андреева и И.Ефремова. Фигурантов, на самом деле, гораздо больше: «В размышлениях о смысле искусства и конечном его назначении сходились П.Я.Чаадаев, причисляемый, хотя и с оговорками, к разряду западников, и славянофилы

А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, братья Аксаковы; монархист Н.Ф.Фёдоров и тяготевший к умеренному либерализму В.С.Соловьёв. В XX веке здание русской христианской эстетики возводили Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, В.Ф.Эрн, Н.О.Лосский, И.А.Ильин, А.Ф.Лосев, В.В.Зеньковский, Л.П.Карсавин, Ф.А.Степун, Г.П.Федотов, А.К.Горский, Н.А.Сетницкий, В.Н.Муравьёв и др». И, пока мы не перешли к собственно идейному содержанию книги, стоит сказать, что круг рассматриваемых не ограничивается литературой, будут здесь публицисты и даже художники. И не только первого ряда: скажем, не один Филонов, но и попавший в двадцать пять лет под поезд Василий Чекрыгин.

Что же даже гипотетически могло объединить столь разные личности, такие разные идейные направления? Ключевыми здесь, скорее всего, станут идеи того же Николая Фёдорова, что не раз появится на страницах нашего обзора. «Мыслитель выдвигал идеал активного христианства, соработничества человека Богу в деле спасения, включая в него не только духовно-душевное делание, дела милосердия, благотворительности, христианизацию общественной жизни, но и соучастие в исполнении предельных онтологических обетований: преодоление смерти, воскрешение умерших, преображение земли и универсума в Царствие Божие. Это преображение представало не как мгновенный, катастрофический, трансцендентный акт, прерывающий апостасийное движение мира, а как творческий, имманентный процесс обожения человеческого и природного естества, “восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения”. А Царство Небесное представало динамической вечностью, где “покоение в Боге”, бесконечное, но статичное созерцание Божества уступало место благому творчеству в обновленной Вселенной, многоединым художником которой призван стать человеческий род в единстве всех поколений». Корневой смысл автор выводит из самой главной книги — «Отец Мой доселе делает, и Аз делаю». Работа творения не прекращалась, она продолжается (creation continua), и человек может, должен даже стать ее соработником. Грехопадение, изгнание из райского сада (вспомним сад Фёдорова-Гачева да и всех других философов) и вечности, воцарение в бытии смерти трагично, но обратимо. И это и есть самая главная задача человечества, ведь конечность жизни, всех усилий, финальное умирание буквально обесмысливает все прочие усилия и достижения человеческого рода. Объединив, возвысив свои усилия, человечество может победить смерть, вознести себя на иные ступени жизни, совершенствовать себя, животных, природу, космос... Это служение и становление, деятельная любовь, ведь «христианину недостаточно только молитвы и соблюдения обрядовых предписаний, “необходимо оправдаться деятельной любовью, самозабвенной отдачей души своей за други своя”. В труде христианской любви происходит встреча “с подлинным образом Божиим в человеке, с самой воплощенной иконой Бога в мире, с отблеском тайны Боговоплощения и Богочеловечества”», как мыслила деятельница первой русской эмиграции Е.Кузьмина-Караваева (мать Мария). «Проектируя и организуя в христианском векторе социальную жизнь и действие человека, апологеты идеи оправдания истории не отрывали его от природы. Фёдоровский трехчлен “Бог, человек и природа” задавал вектор целостного мирознания, в котором любовь к Богу и любовь к ближнему соединялись с религиозным заданием возделывать и хранить Богосозданный мир, с образом благого хозяйствования, регуляции природы, заступающей место эгоистически-потребительскому отношению человека к его земной колыбели. Значительную роль в становлении этого видения

сыграла русская философская поэзия с ее онтологическим, а не социально-гражданским ракурсом взгляда на человека, с ее рефлексией о вечных измерениях его бытия — смертности, бессмертия, творчестве, с рождавшимся у Ломоносова, Державина, Боратынского, Тютчева образом человека-творца, “разумный гений” которого проявляет творящие силы самой природы, противодействует “запустению” и распаду. Рассматривая, как русские поэты-мыслители трактовали категории “пространства” и “времени”, мы ставим их в контекст русской христианской мысли, чаявшей преодоления пространственно-временной разделенности, выдвигавшей идеал динамической, творческой вечности».

Уже имена в приведенных цитатах — и их расположение, от первой половины прошлого века до века XVIII не будет столь уж некорректно, ибо обращение времени, преодоление его смертного вектора важно для этого направления мысли — еще раз подтверждают широту поля исследования. Натяжка ли это? Очень вряд ли, хотя бы потому, что не могла чья-либо мысль уйти далеко и не столкнуться с краем, с кардинальными вопросами. Да, можно было, если оперировать термином Д.Галковского, поставить «заглушку», а можно было, как у него же про Толстого, попытаться найти «выход из темного туннеля». Это не только снимало бытийный страх, но и давало свободу в высшем ее смысле, свободу созидания, со-творения: «Идея Богочеловечества, введенная в отечественную философскую мысль В.С.Соловьёвым, Н.Ф.Фёдоровым, Ф.М.Достоевским, не просто задавала перспективу онтологического роста, она открывала возможность разрешить в плане должного и ключевой для христианской картины мира и для темы истории вопрос о свободе. Раскрывая парадоксы свободы в падшем, “обезбоженном” мире, в закрытой от Бога душе человека, мыслители, утверждавшие историософский оптимизм, исповедовали высшую свободу, истекающую из божественного источника. Это не свобода от, а свобода для, свобода, сопряженная с ответственностью за землю, на которой рождается человек, и за историю, ставшую его попранием. Заповедь о совершенстве была понята здесь не только как призыв к нравственному, духовному деланию, но и к творческой активности в мире, охватывающей все сферы человеческой практики. Концепция человека, восстанавливающего в себе образ Божий, восходящего к богоподобию, и христианский общественный идеал оказались двумя сторонами единого целого. Как точно сказал об этом С.Н.Булгаков: “Богочеловечество есть догматический зов как к духовной аскезе, так и к творчеству, как к спасению от мира, так и к спасению мира”».

Эта крайне большая тема не только касается всех, но и поднимает множество параллельных вопросов и тем. Взгляд русских философов, писателей и публицистов на проблему памяти, красоты и трагического, Владимир Соловьёв (мы встретим в книге даже мини-обзор его биографии) и Николай Фёдоров, Леонтьев и Ницше, Ницше и Фёдоров, войны и эмиграция, советское переустройство общества и его тупик...

Что-то из этого почти необъятного (и принципиально открытого) спектра идей начали — с той или иной степенью успешности — реализовывать в рамках того же советского проекта: освоение космоса, освоение дотоле климатически недоступных земель. Идеи Фёдорова и Циолковского⁵ о преобразовании природы, избавлении ее от вредных для человечества стихийных явлений и управлении природой реализуется, кажется, сейчас, а фёдоровская идея мирного использования армии, обращения ее в «естествоиспытательную силу» нашла отражение в практике конверсии⁶. Что-то вроде летающих людей фигурирует как в фантастических романах, так и в патентных заявках

и даже роликах на YouTube'e, а было предсказано, предвидено еще очень давно: «Близкое представление о технике задолго до П.А.Флоренского высказал автор учения “Всемир” А.В.Сухова-Кобылин. Он полагал, что в процессе движения человечества от земной, теллурической, через солнечную (солярную) к звездной, сидерической стадии жизни, “человека технического” сменит “человек летающий”, просветивший “свое тело до удельного веса воздуха”, создавший себе “эфирное, т.е. наилегчайшее тело”. Изобретение таких средств передвижения, как велосипед, локомотив, для философа — своего рода прообраз “будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы этого теллурического мира”».

Какие-то темы оказываются очень актуальны сейчас. Если уж, с Гачева, наметилась тема некоторой антизападнической инвективы, то эхо современных проблем можно услышать в давних еще спорах: «Новоградцы, подобно другим представителям пореволюционных течений русского зарубежья, были антизападниками. Но, в отличие от тех же евразийцев, критиковали европейскую цивилизацию не как чуждый этнически-культурный мир, а как мир, стоящий на противобожеских, ложных путях, обоготворивший Ваала, принявший “существующее за свой идеал”. Не Европа как таковая и не народы Европы — “Вавилонская башня европейской цивилизации и мирового хозяйства” — вот против чего выступали они, указывая на фундаментальные изъяны потребительского общества, на ложную направленность индустриального прогресса, который “в состоянии одеть весь мир в шелковые чулки и снабдить его презервативами”, но не может дать “предметов первой необходимости (хлеба, здоровья, жизни)”. Не раз сетовали деятели “Нового Града” на стремительно захлестывающую мир “метафизическую инфляцию”, которая, по их убеждению, гораздо страшнее инфляции монетарной, ибо ведет к оскудению души человека, к погашению в ней “жажды горних”, стремления к бессмертию и бесконечности, которое и составляет основу самостояния существа сознающего». Сейчас, после 24 февраля, во время написания этого текста, совсем не грех вспомнить одного из тех неоценённых по достоинству мыслителей, что присутствуют на страницах этой книги: «Размышляя о Второй мировой войне как сломе путей современной истории, кризисе прежних ее идеалов, открывающем путь к опознанию и исполнению общего дела, Горский критикует те идейные тенденции, которые продолжают удерживать историю в прежнем смертобожническом русле, загоняя ее в прокрустово ложе схватки идеологий, где верховным принципом действия оказывался “упрощенческий лозунг «убей фашиста»”. Чем дольше длилась война, тем настойчивее утверждался философ в своем убеждении, что вооруженная борьба — только паллиативное решение в плане ее окончания. Разгром фашизма, не сопровождаясь переменой сознания, обращением на путь общего дела, не устранил вражды в человечестве, а значит, и будущих войн».

Все эти аналогии и рифмы с современностью, что может иметь масштабная, даже вековая книга А.Гачевой, я привел, конечно, не для демонстрации ее сиюминутной актуальности, а для манифестации того, что главный посыл книги — объединение людей и народов ради решения фундаментальных задач, соработничества в бытийных вопросах, реализации всех заложенных в человеке, природе и мироздании потенциалов — оказывается не только не решен, но и толком не услышан.

3. Слушаем звук надгробий и пространства крематория

Граждане космоса: Русский космизм в фильмах Антона Видокле / Ред.-сост. Николай Смирнов. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. 352 с.

В монографии Гачевой про основоположника русского космизма Фёдорова сказано: «Взаимообусловленность в русской философии темы человека и темы истории особенно очевидна при обращении к наследию Николая Фёдорова, мыслителя, который резко и демонстративно отвергал “отвлеченное понятие” “человек” и очень не любил всяческих “философий истории”. И тем не менее именно Фёдоров во многом определил антропологический вектор русской религиозно-философской мысли конца XIX — первой трети XX века и именно он выдвинул и обосновал ключевую для русской историософии идею истории как “работы спасения”». Известно также, от жены Андрея Платонова, что книга Фёдорова лежала на прикроватной тумбочке писателя. А биокосмист Валериан Муравьев писал о кинематографе будущего, который будет использовать небесный свод как экран. Эта книга подтверждает даже не степень распространения и актуальности идей Фёдорова и космистов⁷, а то, какими неожиданными тропками расходятся этот феномен и в наши дни⁸.

Сама форма книги — хорошая эмблема подобной дискретности. Очень научномкие статьи, несколько круглых столов, посвященных обсуждению фильмов Видокле, в свою очередь во многом использующих концепты космизма, статьи иностранных участников скорее в жанре «Как я познакомился с русским космизмом и что с ним делать в рамках (сильно идеологизированной) западной научной школы?», иллюстрации, довольно разношерстная хронологическая таблица распространения идей Фёдорова и почти всего как-либо с ними связанного (от выхода его книг до запуска спутников и предоставления андроиду Софии гражданства)... Вся эта «цветущая сложность» (термин К.Леонтьева) напоминает микстейп из «Логоса», «Синего дивана», «Неприкосновенного запаса», плюс «Искусство кино», плюс каталог к выставке/кинопоказу, плюс...

Компаративистское сравнение тут — не ради красного названия печатного издания. И многие участники строят свои выступления «от противного», через определение того, чем космизм не является, чем его блоки не стыкуются с космической станцией какого-либо иного учения. Так, после первой вводной статьи А.Гачевой с определением космизма — «философия космизма возникла как попытка созидательного ответа на пессимистическую модель мироздания» — его основными реперными точками и мотивами учения Фёдорова (музей, архитектура, колокола, хоровод), целый ряд участников виртуальной и очной дискуссии приступают к определению космизма через сравнения. Б.Гройс, еще один интересант этой темы⁹, проводит сразу несколько аналогий — разводит по разным углам гамбургского ринга с теософами и марксистами, сопоставляет с Огюстом Контом и социалистами. Кети Чухров берет выше, расставляя демаркационные линии между учением Фёдорова и философией в целом, формулируя (отчасти за самого мыслителя) «фёдоровское обвинение философии в нарочитом нежелании решать вопросы, определяемые ею как невыразимые или невысказанные, поскольку эти вопросы относятся лишь к сфере спекуляции, а не к области действия

или выполнения задач»: «Между тем Маркс и коммунизм (или даже христианство) остаются в области философии, в то время как фёдоровский космизм предпочитает из нее уйти». Составитель книги Н.Смирнов отталкивается от революционной герменевтики. И его достаточно смелая статья оказывается весьма показательной. Во-первых, демонстрируя интересность и витальность космизма, во вселенную которого вовлекаются совершенно разные и потрясающие персонажи. Так, он пишет не только об Андрее Белом, но и о социалисте Н.Морозове, который, сидя в одиночке (впрочем, сам Морозов про свое заключение сказал, что сидел не в крепости, а сидел во Вселенной.) и изучая по книгам созвездия, пришёл, еще очень задолго до Фоменко и Носовского, к выводу, что мировая история значительно короче. Во-вторых, принимая подачу продолжать мысль и сравнения, можно вспомнить очень разное. За любовь к астрономии другие сидельцы прозвали Морозова Зодиаком — так, в недавнее наше время, прозвали загадочного серийного убийцу, которого так и не нашли. Когда же Смирнов пишет, «погрузившись в сосредоточенное молчание (то есть создав герметическую ситуацию внутреннего созерцания), человек освобождается от космического детерминизма, очищая себя от кар материи (пороков), которые уступают место Божественным Властям (добродетелям) на внутреннем небе его сознания», можно, да и нужно, вспомнить медитативные практики исихазма.

Мысль, запущенная космизмом, действительно ничем не сдерживается, полет ее в космосе неограничен. На страницах несколько раз благодарно упоминается Даниил Андреев, когда же А.Гачева обсуждает сцену из фильма, где персонажи выдалбливают ямки в почве и встают в них босыми ногами, она приводит высказывание о том, что «обувь — это один из тех искусственных покровов, которыми человек, по мысли Фёдорова, отделяет себя от бытия». Но можно вспомнить и увлечение Андреева босохождением (был даже смешной эпизод, описанный в мемуарах жены Андреева, когда где-то на природе, около дома отдыха, он сбросил обувь и пошел по снегу в лес, прохожие же потом ужасались — вот лютуют органы, людей уже холодом пытаются!). Аналогии, сравнения, мысли вообще так и рождаются при чтении, будто сам участвуешь в очередном круглом столе. Но, заканчивая с ними, приведу лишь один возникший ассоциативно-идейный ряд. В своей очень яркой статье, работающей с импликациями фантастического в современной фантастике, Оксана Тимофеева вспоминает одну из идей Эвальда Ильенкова, высказанную им даже в прозе: чтобы, огрубляя сформулируем, победить энтропию, «в какой-то, очень высокой, точке своего развития мыслящие существа, исполняя свой космологический долг и жертвуя собой, производят сознательно космическую катастрофу — вызывая процесс, обратный “тепловому умиранию”», то есть взрывают, поджигают мир. От этого же можно плясать очень далеко в разные стороны — от порождающего мир огня Эмпедокла до строчек песни из последнего альбома группы «Оргия праведников» Сергея Калугина:

Уже не страшно знать, что всё, что было мной,
Причастно вечности лишь тем, что в ней исчезнет.
И я твержу себе над краем этой бездны:
Прыгай в огонь, прыгай в огонь, прыгай в огонь...

В свое оправдание могу заметить, что и коллабораторов книги идеи космизма уводят далеко, приводят к любопытнейшим наблюдениям. В фильме Видокле «Граждане космоса» (2019) снимался японский обряд поминовения умерших¹⁰ — сортировка

праха покойного в крематории его близкими. «Этому прекрасно соответствуют музыкальные ландшафты Alva Noto, которые созданы для фильма. Мы слушаем звук надгробий и пространства крематория; мне кажется, выслушивать бетон — это совершенно биокосмическая практика. Что-то мне подсказывает, что все камни являются надгробиями — бывшей или будущей жизни. И вот мы выслушиваем в них какие-то звуки. Каким будет следующий шаг?» Следующий шаг в разговоре — тут же, на глазах, возникшая аналогия между японским анимизмом и анимэ на тему трансгуманизма. Саму же японскую тему тоже никак не обозвать случайной — именно в Японии вышел первый перевод Николая Фёдорова.

Все это «игры разума» и «вечное сияние чистого разума», если речь зашла о фильмах? Такая мысль тоже дискутируется на страницах «Граждан космоса» — Фёдоров, его последователи и так или иначе аффилированные с ними были настолько безумны, что действительно верили в воскрешение всех мертвых, где они будут жить, как адаптируются, как общаться с древними людьми? На все это участники дают практические ответы — жить, писал сам Фёдоров, в космосе, адаптировать можно, заселяя людей одной эпохи в одни географические точки, общение облегчит, возможно, то, что в тебе есть часть крови этого прежнего человека... Но мне гораздо больше понравился другой ответ. «Что, например, происходит с человеком в старости, когда он чувствует глубинное одиночество, потому что новое поколение обладает своими ценностями и интересами, а все его близкие и родные, все его собратья по поколению ушли или уходят из жизни? Но представим, что человек участвует в их воскрешении, — какой радостной, одухотворенной, наполненной становится его жизнь». Действительно так, ведь, если дата-центры мировых гигантов цифровой индустрии уже хранят, как те музеи по сохранению жизни, которых чаял Фёдоров, все наши письма, фразы, действия в Сети и интересы, и скоро у каждого будет цифровой Голем (Фейсбук, то есть Meta, видит метавселенную уже не за горами), то ту же проблему старости и умирания до сих пор предлагают решать с помощью патронажной службы, хосписов, вообще того продолжающегося удаления смерти и ее осмысления с глаз долой (буквально — еще в моем детстве хоронили всей улицей, сейчас, как тати в ночи, быстренько выносят в черном мешке в машину без опознавательных знаков), о котором писал еще Бодрийяр в «Символическом обмене и смерти», но воз и ныне там...

4. Космическая литургия в Антарктиде

Русская философия. 2021. Вып. 2. Декабрь. — СПб.: Изд-во РХГА, 2021. 176 с.

Журнал, издаваемый Русской христианской гуманитарной академией¹¹, конечно, еще более дискретен, чем сборник Видокле. Два материала посвящены 200-летию Достоевского, остальные же, хотя и условно («Актуальные вопросы отечественной мысли») рубрицированы и, менее условно, содержат в себе в большинстве случаев религиозную мысль, варьируются крайне сильно. От академических статей и хроники научной мысли до написанной, видимо, на русском и плохо вычитанной редакторами статьи С.М.Капилупи о Достоевском же до полемической, чуть ли не в стиле колонки

во «Взгляде», статьи А.Казина с антизападническим посылом «Белое, красное и жёлтое: метафизика русского спора».

Кстати, про так или иначе мелькающий в рассматриваемых изданиях антизападнический дискурс. В статье А.Гачевой «Идеи христианской политики в философском и художественном ракурсе» редуты Запада атакуются с точки зрения Фёдорова — и точнейшим образом отвечают сегодняшнему дню, когда западный мир, со всеми накопленными во время ковидных ограничений силами, сплотился в экономической и идеологической войне против нашей страны: «Разрыв между реальным и должным планом истории, между идеалом Христовой любви и жертвы и реальным состоянием человеческих душ и общественных организмов, хорошо сознавал Н.Ф.Фёдоров. Ключевая категориальная пара его философской системы — “несовершеннолетие / совершеннолетие”. Несовершеннолетняя эгоистическая цивилизация, утратившая религиозное измерение бытия, пользуется в политике дурными средствами: столкновение партий и групп, соперничество интересов, борьба за сферы влияния, войны политические и торговые, взаимная манипуляция и обман, скрытый под видимостью приязни. В цивилизации “недорослей”, символом которой выступает у Фёдорова Европа Нового времени, политика и мораль принципиально разведены».

При разговоре об абстрактных, казалось бы, понятиях («Восточнохристианская традиция в творчестве Томаса Мертона», «Бертран Рассел в России: рецепция идей и влияние на формирование отечественной школы аналитической философии» или беседа болгарского коллеги с С.Хоружим о паламитских понятиях или междисциплинарности его интересов, физика и православная мистика) актуальности возникают одна за другой. Так, нельзя не согласиться с А.Казиным, что февраль 1917 года действительно во многом оказывается схож с февралем 90-х: «Структурно оба “февраля” совпадают вплоть до деталей, начиная с лозунгов демократии и свободы, предательства властных элит и кончая очередным изданием “сексуальной революции”». Или с Р.Светловым о (невольных?) прозрениях К.Леонтьева: «Не до конца ясно, что Леонтьев подразумевал под “новыми социалистическими сословиями”, но нет никаких сомнений, что история советской России показала нам, как сословность начинает формироваться в качестве некоторого естественного явления. Это касается даже не клана “старых партийцев”, ветеранов Революции и Гражданской войны, который оказался существенно прорежен во время репрессий Сталина. Речь идет о создании фактических корпоративных групп (“феодализм общин”, как об этом пророчествовал Леонтьев), объединенных характером профессиональной или служебной деятельности». Автор корректно не именуется нынешние корпоративные группы, благо мы их знаем, от «бывших не бывает» в нашей стране, до, скажем, выпускников Лиги плюща на Западе. Зато приводит следующее высказывание: «По концепции С.Г.Кордонского, сословия есть общественные группы, возникающие в экономике, которая ориентируется преимущественно не на рынок, а на инструменты распределения ресурсов»¹².

Нам же среди всего этого пестрого многообразия интереснее, как аугаются идеи Фёдорова — напрямую или же весьма окольными, но не менее убедительными путями. Так, в статье с интересными посылами Н.Синдюкова «Великий инквизитор как великий гуманист» присутствует ремарка: «Чудо, творимое далее Христом, — дар зрения слепцу, воскрешение девочки — в контексте повествования воспринимается не как нарушение естественного миропорядка, где властвуют смерть и распад, но именно

как естественное же его продолжение, поскольку и сам этот миропорядок — понятный, разумеется, в религиозном смысле — зиждется одним лишь чудодейственным ликом Христовым». И это прекрасным, радостным образом укладывается в ту логику, о которой писал Фёдоров и идущие за ним и рядом: творение не закончено, вознесение возможно еще задолго до Второго пришествия, сотрудничество человека, Бога и мира, при известном усилии, открыто. Об этом приводятся слова Бахтина: «Тот катарсис, которым завершает романы Достоевский, можно было бы, конечно, не адекватно и несколько рационалистично — выразить так: ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, все еще впереди и всегда будет впереди». И «культура — не вершина духа, а плод его усилий в земной жизни, путь от зверочеловека к Богочеловеку» (из статьи «Философия культуры от Гегеля до Бердяева» Д. Богатырёва, Л. Богатырёвой и К. Преображенской). И даже когда С. Хоружий говорит о продуктивности объединения гуманитарного и точного знания, сведения в одну двух оптик, это тоже может быть прочитано в рамках общей фёдоровской идеи о необходимости объединения всех усилий человечества из самых разных областей, будь то управление пагубной погодой или же самые имманентные мистические потенции: «Что касается эволюции сознания, представлений о мире, о бытии, то, безусловно, такая общность есть. И больше того, она вполне уже выражена какими-то обобщающими терминами, которые приложимы и к сфере естественного, и к сфере гуманитарного познания, в представлениях о мире, о реальности в целом. Признано, что наше познание, наше представление о реальности перешли, как говорят, из классической парадигмы в неклассическую».

Все это, однако, интуиции изнутри, показателен же будет взгляд со стороны: серба Владимира Меденицы, философа и издателя — серии «Русские богоискатели» в созданном им издательстве «Логос»¹³. Кстати, взгляд этот будет сторонним, но и вовлеченным, учитывая историческую, религиозную, политическую и прочие близости России и Сербии¹⁴. Свою статью «Проективный геоцентризм Николая Фёдорова» он начинает с того, что самое «понимание геоцентризма в более широком контексте, в теологической, философской, биологической, экологической перспективе, было дано в учениях русских религиозных мыслителей, прежде всего Николая Фёдорова; и с того момента не очень продвинулось», — возможно, нам стоит обратить внимание на это «не продвинулось». Демонстрирует он и возможности расширения контекста, привлечения, как и в предыдущей книге, иных персонажей, когда пишет о «земном космическом корабле», о котором «мечтали философ Валериан Муравьёв и советский физик Георгий Покровский, который Землю представлял себе как звездолет, своего рода космический корабль, который в случае медленного и неизбежного охлаждения Солнца, должен освободиться от его силы притяжения, уйти с орбиты и направиться в другие пространства универсума в поиске нового солнца. В этом смысле Покровский рассуждал о мощных ядерных реакторах в Антарктике¹⁵, за счет приводной мощности которых Земля могла бы выйти в свободные пространства вселенной. Существенное отличие идеи Фёдорова о землеходе и идеи Покровского о звездолете заключается в цели этого приведения Земли в движение: у первого — речь идет о супраморалистической миссии всеобщего восстановления и спасения всей вселенной, у другого — о «эгоистической» идее спасения самой Земли». Замечу, что идея реакторов в Антарктиде так или иначе реализуется/дискутируется прямо сейчас, когда очень востребованной стала не только тема освоения Северного морского пути (ведение проекта отдано ГК

«Росатом»), но и стратегического и ресурсного освоения постепенно, в связи с климатическими изменениями, освобождающихся ото льда огромных территорий с не менее впечатляющими запасами полезных ископаемых. Воспользовавшись цитатой из Меденицы по другому поводу (на ту, обобщая, тему христианской политики, о которой говорилось в других материалах номера), можно заключить, что и вся эта научная, но уже не фантастика, а повестка, тоже имеет глубинные корни в тех идеях, что были озвучены давно, считались/считаются безумными и актуальными, несмотря на все дискуссии и аналогии: «Эта космическая поэма о новом “Арго” представляет собой картину “внехрамовой литургии” Фёдорова, которая открывает стены, открывает купол храма (“летний храм”) и возносит церковную литургию в космические высоты. Таким образом, в этом видении, в этом “проективном геоцентризме”, Церковь ощутимо и материально становится Вселенским Собором всех живых и мертвых, ныне воскресших поколений. Напомним, что в основе этого понимания лежит глубокое христианское понимание пространства и времени, которое пространство и время принимает в их изначальной чистоте, как изначальное пространство и изначальное время, пока они еще были открыты для вечности и бесконечности. С падением человека вечность исчезла из времени, а бесконечность и общедоступность пространства превратились в дурную бесконечность, в недоступный хаос, “организованный” слепыми силами природы. С восхождением человека, с его взлетом бесконечность пространства становится преодолимой, невозможное становится возможным, новая геометрия становится данностью, параллельные линии действительно пересекаются в божественном присутствии, с полной точки зрения они собираются во “всевидащем” оке Сына Человеческого и Сына Троичного, и вечность теперь возвращается во время, и вместо Леты, реки забвения и разложения, делает его океаном, омывающим все берега, все миры. Красота времени будет теперь в его истинной непроходимости, в его окончательном освобождении от формы отсчета, то есть в его заполнении содержанием сложения».

5. Евразийская экзопланета

Евразийство: Исход к Востоку. Книга 1; На путях. Книга 2; Евразийский временник. Книга 3: сборник. — СПб.: Лимбус Пресс; Издательство К.Тублина, 2022. 704 с.

Масштабное переиздание основных текстов формировавшегося в эмиграции в Европе течения евразийской мысли к столетию со дня первопубликации. Уже с самим термином интересно — то, что было опять же довольно маргинальным течением мысли, сейчас присутствует в официальной риторике, на политической арене (ЕАЭС — экономический союз постсоветских государств, расположенных в Восточной Европе, Западной Азии и Центральной Азии), не только в риторике евразийца А.Дугина и в ее ироническом осмыслении у его противников. Про последние импликации этой идеи (вряд ли все же идеологии) хорошо сказано в предисловии к этой книге — «опасная тематизация».

Между тем, идеи евразийства можно — если не брать весь спектр их помышлений, уход, особенно на последних этапах существования этого течения, в 30-е годы, отдельных его деятелей в иные области, будь то православие, союз с коммунизмом и так далее — можно сформулировать довольно просто. Есть особый цивилизационный вектор, сочетающий в себе как Европу, так и Азию. Он располагается по большей части на территории РФ/СССР (посему идеи о «Евразии от Владивостока до Дублина» — это из сферы дискредитационных хохм, направленных в массовое сознание). Все народы в его рамках равны. Но для этого идеального существования нужно уменьшить нынешнее даже не влияние Европы, а крен в ее сторону, и, с другой стороны, признать и реализовать восточное¹⁶, азиатское наследие/влияние. Если очень грубо, то это все.

Собственно, в представленных здесь трех книгах-сборниках евразийцев даже особо и нет политологии и идеологии. Да, из предисловия и послесловия П.Зарифуллина¹⁷ можно не только почерпнуть первоначальные представления об этом течении, но и узнать, что на каком-то втором этапе в условной хронологии его развития у участников — молодых, двадцатилетних эмигрантов с прекрасным образованием, опытом научной, дипломатической и прочих работ до того, как революция выкинула их из России в Болгарию, Чехию и далее по географическому списку — появилась прекрасная мечта, что коммунистический режим обречен, его можно скинуть, в том числе с помощью их идей, и они стали писать простые манифесты, переправлять их в советскую страну... И как ГПУ с помощью хитроумной операции «Трест» сыграло на этом и разрушило планы в самом их основании.

Пока же сборники перед нами — скорее даже научные статьи, эссе, то, что сейчас публиковалось бы в специализированных или просто толстых журналах. Много, конечно, рассуждений о революции, религии, истории, а также — об эволюции, Чаадаеве, торговых путях и экономике, о поэтике Блока, о Ницше, Лескове, Леонтьеве. О «красочном и двойственном, внешне спокойном, внутренне напряженном, отображающем борьбу спорящих друг с другом о господстве вулканических сил» XIX веке. И даже о том, что «только музыка может замедлить время».

Кстати, нет здесь и обычных эмигрантских стенаний о «той России, которую мы потеряли», — евразийство вообще кого-то привлекло тогда (а кого-то и фраппировало) молодой энергией и энтузиазмом его участников. Евразийцы хотят не рыдать, но радоваться в работе. Посему и революция, например, это «не только бунт; она не есть голое разрушение, не всплеск буйной неосмысленной стихии; в ней есть свои свершения, свои достижения».

Многообразие дискурсов, многотемность, совершенно различные интонации и стили — это объясняется пестротой самого евразийского течения. Здесь разное, даже зыбкое все. Включая хронологию — предтечами евразийства называют Достоевского и Леонтьева, а доводят умершее в 30-е годы течение мысли до Л.Гумилёва, затем и до наших дней. А уж основные, основоположные участники... Лингвист, философ Николай Трубецкой, которому европейские мыслители в целом и Леви-Стросс в частности обязаны структуральному методу. Географ, поэт, кто только не Пётр Савицкий с судьбой, которую бы Спилбергу экранизировать: в Праге участвовал активно в антифашистском движении, не пострадал только потому, что гауляйтером Праги был его бывший студент, зато пострадал уже в советской Чехии как «белогвардеец», в мордовских лагерях с ним познакомился вроде бы Л.Гумилёв, в 60-е годы его опять арестовали в Чехии за антисоветские стихи... Богослов

Г.Флоровский, музыковед П.Сувчинский... Так или иначе примкнувших к течению вообще не перечислить — Л.Карсавин, Д.Святополк-Мирский, В.Ильин, С.Эфрон — или, например, только в Брюсселе: Н.Степанов, Н.Перфильев, В.Яновский, С.Малевский-Малевич, Н.Сербулов. Сюжеты же опять претендуют если не на экранизацию и описание в духе альтернативной истории, то уже совершенно точно на многие статьи в жанре интеллектуальной истории: так, например, в 1931—32 годах евразийцы Антипов и Савицкий пытались установить связи с немецкими консервативными революционерами, состоялся даже обмен статьями для журналов. Представим себе Эрнста Юнгера, выступающего на съезде евразийцев в Берлине или Праге! Или, если говорить о протоевразийцах, вестфальский дворянин, «хозяин» Казахстана во времена Николая I, Густав Христианович Гасфорт, считал, что религией будущего геополитического проекта должен стать иудаизм, пытался завести в подвластные ему земли евреев из Украины — это, вспомним, криво аукнулось в создании Еврейской АО со столицей в Биробиджане...

Разумеется, пересечения евразийства и космизма не просто были, но и весьма разноплановые. «Видение Русского мира как концепта, как космической гармонии произошло не на пустом месте. Гумилёв упоминает, что Трубецкой при написании своей евразийской концепции интересовался работами Александра Богданова», а «космизмом Николая Фёдорова всерьёз интересовались левые евразийцы Эфрон и Карсавин. Ну а настоящий синтез астрофизики и этнографии предложил Лев Гумилёв — ученик как Трубецкого и чингисхановеда Хара-Давана, так и великого русского естествоиспытателя и космиста Владимира Вернадского. Кстати, сын Вернадского Георгий был евразийцем и написал великолепную историю России с точки зрения евразийства», — напоминает П.Зарифуллин. Еще раньше А.Гачева исследовала связь евразийца Константина Чхеидзе с идеями космизма¹⁸, а также дрейф многих, за явным исключением Флоровского, евразийцев «к противоположной позиции христианского социального делания, нашедшей крайнее свое выражение в фёдоровстве». Много мы находим соответствий и в текстах самих участников. «Религия — единство, сопрягающее живых и мертвых, прошлое, настоящее и будущее», пишет Савицкий, настаивая на «творческом расширении сознания и опыта Церкви», в другой же статье замечает, что «христианство чрезвычайно обогатилось в среде эллинистического мира, приняв в себя тайну космоса». Аукнутся идеи Фёдорова — или Д.Андреева? — и совсем в наши дни.

Заканчивается книга некоей программой Международного общественного Движения «Новая Евразия». И честно, если у кого-то эти идеи и вызвали живую симпатию, то участники этого движения сами активно подставляются — и большие буквы, и пассажи вроде следующего будто специально написаны для постмодернистского охотничья: «Время ускоряется? Добро. Где наши электрические колесницы и лазерные луки? Термояд в каждом доме? Отлично! Быстро построим скифскую конфедерацию Новая Евразия на Земле с филиалами на экзопланетах. Разумеется, на идейных принципах скифского мудреца Анахарсиса: на скифской экологии, правах народов и экономике красоты». Про научную фантастику, сиречь киберпанк, мы поговорим в самом конце этого обзора. И в этом же манифесте целые разделы будут посвящены экологической тематике, созданию системы плейстоценовых парков, «восстановлению уничтоженных человеком за последние тысячелетия животных, в том числе с помощью генной инженерии, максимальное возрождение уничтоженного биоценоза».

Впрочем, выход на современные реалии этим отнюдь не ограничивается — сборник вообще можно читать столь же своевременно, как и новостную ленту. В статье «К преодолению революции» П.Сувчинский призывает смириться с ограничением туристических возможностей — что звучит крайне злободневно, вся Европа закрыла свое небо для отечественной авиации: «Разверзшаяся бездна черной смуты является достаточным предостережением от выхода на старый путь. Конечно, это может быть неприятным для тех преклонных почитателей Западной Европы, которые десятки лет кряду ездили во Францию, Италию, Испанию, Германию, Австрию и т.д. для отдыха и просто от скуки и поныне из всех стран мира только эти страны считают стоящими признания и вниманья». Он добавляет, будто предвосхищая пропагандистскую компанию и «культуру отмены» в действиях условного «золотого миллиарда» против России: «...У многих романо-германских народов наблюдается вековая необоснованная враждебность к русскому народу, легко прорывающаяся у них при первом обострении политических отношений между правительствами. Наша пламенная всепобеждающая любовь к Западной Европе была, несомненно, неразделённой односторонней страстью. Много этому способствовало наше собственное презрение ко всему своему. Надо надеяться, что теперь русский интеллигент излечится от своего пристрастия ко всему нерусскому. Не страдаем этим пристрастием и мы. Но это не значит, что мы повинны в ненависти ко всему иностранному».

Евразийцы в свои 20-е годы вообще многое знали и предвидели из повестки наших дней. Возвышение США, «европеизация современной Японии» и глобализация («национальный характер, слагающийся из отдельных индивидуальных характеров, изменится») — оказались у них машина времени или квантовая суперпозиция, они бы мало чему удивились. Даже нынешнее импортозамещение им уже виделось — у Савицкого оно названо «самодавлением» (по отношению к «мировому характеру»). Как и то, что интеллигенция (я бы поставил в наших условиях это слово в кавычки) будет окрашивать свои аватарки в соцсетях в цвета любых флагов, кроме российского: «Вот это и есть самое страшное. Если иностранное иго будет морально поддержано большинством русской интеллигенции, продолжающей преклоняться перед европейской культурой и видеть в этой культуре безусловный идеал и образец, которому надо следовать, то России никогда не удастся сбросить с себя иностранное иго и осуществить свою историческую миссию — освобождение мира от власти романо-германских хищников». Предсказывают евразийцы и отдельные территориально-геополитические «кейсы». «...То такой выход стремились найти хотя бы в стороне от основного круга земель “Российского мира”; обрели его на Квантунском полуострове. Но воздвигаемый здесь Дальний поистине оказывался лишним» — можно вспомнить и вооруженный конфликт, и возвращение острова Даманский Китаю. Или еще Савицкий: «Следует добиваться реальной гарантии, что флот противника не будет пропущен через проливы и не придет громить берега Черноморья». Не из-за всего ли этого именно сейчас евразийство, над которым смеялись, еще когда в начале 1990-х его начал возрождать Дугин¹⁹, оказалось актуализировано в нашей политике?

Что же завещали и советовали евразийцы в столь сложной геополитической и идеологической обстановке? Всю амбивалентность которой, надо заметить, евразийцы учитывают и отнюдь не стоят на позициях однозначного славянофильства — «как раз в области экономической существование России оказывается, быть может, наиболее

“западническим”. Мы не видим в этом никакого противоречия возможности и факту настоящей и грядущей культурной своеобразности России». Итак, вывод, призыв, как и их основная идея, тоже очень простые: «Только деланьем, экономическим и административным, можно среди испытаний, ниспосланных Господом на Россию, воссоздать и укрепить нарушенный лад жизни, общественной и частной». Но, как показывает история, тезисы эти оказываются тем не менее сложными для осознания и реализации на практике. Требуется «поворот ума» и сердца, метанойя — «и мечом, и политикой Россию не освободить. Она победит свой плен и, может быть, плен всего мира внутренним ростом и вдохновением своих культурных сил».

6. История века, сотканная из монад интересубъективности

Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В.Синеокая. — М.: Издательский дом ЯСК, 2022. 1232 с.

«Групповой автопортрет отечественных философов», приуроченный к столетию Института философии РАН, содержит в себе весьма развернутые свидетельства о философских поколениях действительно за век — от философского поколения 1920-х и 1930—1940-х годов до 2010-х. На каком-то этапе все это напоминает фильм Slacker Ричарда Линклейтера, состоящий из набора абсолютно разных монологов никак не связанных персонажей. Затем проступают реперные точки, опорные имена, единство если не мысли, то точек ее устремления.

Про единство хотя бы деления на поколения могут быть — и есть — разные точки зрения. Как пишет создательница этого фолианта Юлия Синеокая, «эпоха “семидесятников-восемьдесятников” растянулась почти на три десятилетия, а время “девяностодесятников” длилось максимум пять-шесть лет». И эта спорность принципиальна: не только чуть ли не каждый второй (хорошо, третий) из участников сборника высказывает собственное мнение о принадлежности к поколению и вообще дискутирует возможность быть вписанным в оно, но можно вспомнить и другой недавний поколенческий сборник — в «Мои девяностые. Пёстрая книга» те же 90-е то сводятся действительно к пяти-шести годам, то растягиваются до середины нулевых. В.Лекторский из рецензируемой книги суммирует: «Я думаю, что поколения в социально-психологическом смысле и поколения философские различаются». Я же думаю, что поколение каждого индивидуума — разное.

Как, разумеется, и восприятие самого времени: в том же предисловии Ю.Синеокая упоминает исследование НИУ ВШЭ, как различается употребление эпитета «далекий» в отношении десятилетий — идет часто с 80-ми, но про тридцатые никто почти не скажет «далекие 30-е».

Все это лишь говорит в пределе о востребованности подобных рефлексий — и, «в пользу реальной необходимости нового подхода свидетельствует востребованность изданий, подводящих к концепции “философских поколений”», составитель приводит небольшой, но весомый список подобного рода изданий (с. 15—16)²⁰. По аналогии с Гуссерлем, «философское поколение — это духовная общность замкнутых на себе

индивидуальностей-монад, которые, находясь в пространстве интересубъективности, создают единое трансцендентальное поле смыслов — свою поколенческую мифологию». Ю.Синеокая, работу которой трудно даже гипотетически переоценить, приводит пробную каталогизацию поколений: «позднесталинское, оттепели, застоя, гласности, рыночных реформ и протестное, формирующееся, становящееся на наших глазах. Или так: поколение догматической и адогматической марксистско-ленинской философии, поколение реформированного марксизма, Гегеля и Сартра; поколение Канта и Деррида; поколение Ницше, Фуко, Бердяева и Соловьёва; поколение Хайдеггера, Витгенштейна и Ивана Ильина; поколение Делёза, Деннета, Меёясу и Хармана. А можно и так: поколение, говорившее догматами, поколение, говорившее на своем «птичьем языке», молчаливое поколение, поколение переводивших на русский язык, интерпретирующее поколение, поколение переводивших на английский...» Эти три версии наименований лишь манифестируют возможность продолжить ряд «имени имен».

Так же невозможно определить и жанровый состав приведенных в книге свидетельств. Выступая в целом в жанре лично-общественной интеллектуальной истории, авторы демонстрируют весь спектр — от настоящих мемуаров (свойственно, как я заметил, в особенной мере пожилым участникам и — совсем молодым, поколения 2010) до статей, манифестов, высказываний по тому или иному волнующему вопросу.

И самые непредсказуемые имена можно встретить в самое неожиданное время. Так, казалось бы, в самые глухие советские годы — речь о самом первом из представленных поколений — Ольга Танхилевич, по воспоминаниям уцелевших коллег (речь о мемуарах в этом поколении идет очень редко...), распространяла область своих интересов «вплоть до мистики и каббалы», написала мистическую поэму «Даймон», читала Рильке. Православную философию опять же в глубокие советские годы изучал Г.Батищев (1932—1990).

Глубокие рассуждения о Гегеле или рассказ (Г.Белкиной) о том, какие — американские — фильмы смотрело послевоенное поколение: перед нами, по сути, история даже не философии, но нашей страны, ценнейший человеческий документ. Сталинизм, война — куда же тут без истории?

Вектор же говорения философов воистину широк, практически безразмерен. Из книги можно узнать далеко не только о российских реалиях, но и об особенностях немецкой философской академии наших дней, о созданном США кластере востоковедческих исследований в Гонолулу (действительно, замечу из своей японоведческой сферы, большинство книг по японоведению несет на себе гриф Honolulu University Press).

Будет в книге и множество, целая интеллектуальная россыпь, суждений, применимых к современности. (Притом, конечно, что многие декларируют так или иначе свою аполитичность — в духе, разумеется, «Рассуждений аполитичного» Т.Манна. В формулировке В.Анашвили и И.Чубарова — «Мы не заслушивались речами Сахарова на съездах народных депутатов, не вчитывались в тексты Солженицына, презрительно усмехались над ставропольским выговором Горбачёва и карьерными кульбитами Ельцина. Для понимания бездны, отделявшей нас от героев перестройки и мучеников путча, достаточно вспомнить, что в первый день штурма Белого дома мы с одноклассниками собирались на ретроспективу Пазолини и были расстроены лишь

тем, что нас остановил милицейский патруль, выставивший оцепление как раз перед зданием киноцентра на Красной Пресне»²¹.) Спорных, провокативных и, кажется, весьма справедливых суждений. Так, скажем, Н.Кузнецова обобщает претензии к наукометрии в духе международно индексируемых публикаций: «Жесткие правила WOS и Scopus привели к отказу от прежней неповторимой авторской стилистики в публикациях. <...> Нынешние квалификационные работы и большинство читаемых мною статей напоминают более или менее стройные пазлы, собранные из отдельных готовых кусочков зарубежных исследований». Б.Межуев фиксирует такую импликацию подхода к консерватизму: «С моей точки зрения, консерватизм более выигрышен именно как рефлексивная стратегия, позволяющая видеть и понимать тренды наступающего дня, не стремясь при этом адаптировать себя и свою ценностную систему к ним. Конформист будущего, мне кажется, будет проигрывать в рефлексивности, а соответственно, и в философской состоятельности, любому консервативному скептику, способному спокойно и невозмутимо читать книгу Времени».

Но нужно и сказать о том, что не уместилось в этот огромный том, не было отражено в воспоминаниях его героев. Некоторые имена как бы остались за кадром. Многие, особенно посещавшие его лекции в 90-е, с тем или иным знаком вспоминают В.Бибихина. Есть и редкий философ В.Налимов, как и Г.Гачев. Но вот Лосев и Бахтин действительно лишь упомянуты. Не нашлось места питерским философам (А.Магун, О.Тимофеева — картина новейшей философии нашего времени без них рискует быть однобокой). Абсолютно не присутствуют на страницах вольные философы и люди «южинского кружка». Все это, конечно, можно объяснить тем, что речь не только об академической, институциональной философии (через каждое воспоминание проходит красной нитью — почему выбрал(а) философский, как поступала, кто читал лекции, когда и как прошла защита в аспирантуре), но и о конкретной ее площадке. Однако все равно немного странно — так, ближе к концу тома, все чаще мелькает название НИУ ВШЭ, Вышки, различных журналов, философских форумов, других, зачастую локальных вещей, но, скажем, переписывавшаяся в те же советские годы с Хайдеггером²², ведшая активную диссидентскую деятельность в области православия и феминизма (в те годы, когда и слова-то такого многие не знали), а затем экологии Т.Горичева не присутствует на 1200+ страницах ни разу. Если мы сотни раз прочтем о Мамардашвили, Пятигорском, Мотрошиловой, то о Подороге, Ахутине, Гиренке — десятки раз в лучшем случае. Можно, боюсь, вполне солидаризироваться с Д.Дубровским: «Несколько слов о впечатлениях об особенностях нынешней популяризации деятелей советской философии в средствах массовой коммуникации и специальной литературы. Куда ни повернешь, со всех сторон — Мамардашвили, Ильенков, Мамардашвили, Ильенков, немного реже — Зиновьев». Возможно, третье издание книги расширит ее кругозор? Ведь не столь важно, был ли «остепенен» тот или иной деятель, заведовал ли секцией там или здесь, и к какому лагерю он принадлежал, но именно в «поисках смыслов российского цивилизационного процесса, перспективе качественно нового, гуманистически ориентированного состояния российского общества. Вместе с тем в новых условиях требуется обновлять аргументацию в пользу презумпции невиновности философов, стремящихся к достижению истины, которую в принципе нельзя знать заранее» (Н.Лапин).

Что же касается (авто)характеристик каждого поколения, то, несмотря на

крайне интересные выводы, нюансы и отдельные высказывания, это уже, к сожалению, выходит за допустимые объемы этого обзора. Рассмотрим лишь первое и последнее из представленных поколений. Поколение 1920-х и 1930—1940-х годов — практически не выжило, о нем мы видим скорее чужие свидетельства, чудом уцелевшие мемуарные свидетельства. Сначала они уничтожались именно за то, чем призваны были, считали своим долгом заниматься: «Самостоятельное мышление, поиск истины, предъявление этой истины властям как чего-то, с чем нужно считаться, рассматривалось как подрыв легитимности власти». Затем началась война, на которую многие пошли добровольцами — и столь немногие вернулись.

Не менее любопытно с последним из репрезентированных поколений — 2010-х (у кого-то из них первопубликация состоялась в 2017 году!). Если, скажем, для поколения 90-х философскими героями и моделями для подражания часто становились те, кто фигурировал как самостоятельные «спикеры» в предыдущих главах, в широком спектре от Ильенкова до Мотрошиловой, а к 2000-м релевантнее становились западные имена, их перевод, освоение и адаптация «на русской почте», то именно новейшее поколение выбивается из этой матрицы. То, что привело их в философскую профессию или просто вдохновляет, действительно весьма своеобразно. По три раза (!) в качестве мотиватора названы «Звёздные войны», Толкин и — диснеевский фильм о подвигах благородной китайской девицы «Мулан». Рискую прозвучать несколько олдскульно, отмечу, что для этой генерации в свою очередь не столь важны и бумажные издания — скажем, тот же «Логос», многожды названный более старшим поколением — и иным формам самоорганизации — в отличие опять же от различных семинаров, лекций, просто чуть ли не кухонных дискуссий, характерных для поколения оттепели и застоя — они предпочитают сетевые. Впрочем, можно не бояться подобной междисциплинарности и раздвижения привычных рамок, но только радоваться. Тем более что и для предыдущих поколений было свойственно внимание отнюдь не только к философским трудам — так, в совершенно очаровательных и, возможно, в силу возраста наиболее близких мне воспоминаниях самой Ю.Синеокой про поколение 90-х видим/слышим/читаем: «В памяти остались и оглушительное выступление екатеринбургской рок-группы “Наутилус Помпилиус” (Вячеслав Бутусов, Илья Кормильцев и др.), сотрясшей стены учебных аудиторий, и звонкая тишина, заполнившая единственный раз на моей памяти наше 11-этажное здание: в этот день все студенты и преподаватели собрались в огромном актовом зале на втором этаже, где читал лекцию А.Ф.Лосев. Уверена, что сегодня среди философов моего поколения нет человека, забывшего песни Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука и Виктора Цоя, а мои однокурсники наверняка еще помнят альбомы “Крематория” и “Запрещённых барабанщиков”. Мы обсуждали музыку Эдисона Денисова, Софьи Губайдуллиной и Альфреда Шнитке, напевая Джима Моррисона, Дженис Джоплин, Джими Хендрикса».

Развернутую рефлексию, почему именно эти герои, и характеристику поколения 2010-х — и не только — с большим любопытством ждем в следующих изданиях этого, без преувеличения, эпохального труда.

7. P.S. Свободное воскрешение

Ричард МОРГАН. Видоизмененный углерод / Пер. с англ. С.Саксина. — М.: АСТ, 2021. 669 с.

В романе Ричарда Моргана (2002), сочетающем в себе киберпанк, научную фантастику, крутой (hardboiled) детектив и политический триллер, идеи трансгуманизма занимают важное место²³ — как сюжетообразующее, так и то, вокруг чего в книге развернуты моральные рефлексии. Люди в романном мире практически избавились от смерти. Память (сознание) человека хранится в очень маленьком чипе, зашитом где-то в основании черепа (место это может быть дополнительно физически укреплено и защищено). Поэтому обычная смерть особенно никого не пугает — чип можно переложить в любое другое тело. Человека можно убить — причинение так называемой настоящей смерти сурово карается, — только если сжечь ему голову или, вырезав имплантат, физически уничтожить его. Есть и иные образы жизни. На правах то ли людей, то ли функций (обслуживающего персонала) существуют синтетические копии — впрочем, от людей они отличаются внешне, их же софт, содержание в виде интеллекта и самосознания развито чуть ли не до человеческого уровня. И есть так называемые мафы — влиятельные и сверхбогатые люди, которые живут многие столетия, не только покупая и создавая под себя самые дорогие физические оболочки и имея их множество, но (другие не могут себе это позволить из-за цены) просто копируя свое сознание по беспроводной связи раз в сутки и имея бэк-ап его в крайне защищенных дата-центрах. Все это, не считая ИИ, — искусственный интеллект опять же настолько развит, что может разговаривать, шутить, проводить расследования и, хоть эта линия и не является главной, можно заподозрить, что он тоже выступает практически равным людям.

Это общая картина мира, в котором разворачивается весьма динамичное, сложное²⁴ и все обрастающее различными деталями действие книги. Но, возможно, интереснее даже детали, отношение людей к почти достигнутому бессмертию. Само бессмертие, разумеется, относительно и классово-финансово детерминировано. Физические оболочки тех, у кого нет денег на новые воплощения, поступают в некий банк на хранение — их, как и тела осужденных, может выкупить каждый желающий. Но один раз проговаривается и другая немаловажная деталь: многим оказывается достаточно двух жизней, дальше скучно и нудно, все то же самое. Они уходят в виртуальную жизнь, постепенно, как обычные умершие, стираются из памяти поколений. «Но дело в том, что всем, за исключением очень богатых, приходится полностью прожить отведённый срок, а даже с препаратами против старения это очень утомительно. Второй раз всё становится хуже, потому что человек знает, что его ждет впереди. Мало у кого хватает духу повторить это больше двух раз. Большинство добровольно отправляется на хранение, лишь время от времени загружаясь в оболочку для каких-нибудь особо важных семейных дел. И, разумеется, с годами и эти перезагрузки становятся все более редкими, так как новые поколения прекрасно обходятся без своих отдалённых предков».

Как человечество научилось буквально любым образом модифицировать свои тела, так и масштабно освоило оно и виртуальную реальность. Там торгуют сексом —

достигшим в VR почти полной вседозволенности и немислимых форм. Там же — а где еще, если человеку не страшна физическая смерть? — пытаются: бесконечными кругами прогоняют сознание через пытки, пока оно не дойдет до грани. «Человечество тысячелетиями мечтало о рае и аде. О наслаждении или боли, не имеющих конца, не убавляющихся со временем, не ограниченных тесными рамками жизни и смерти. Сегодня фантазии сбылись благодаря виртуальному форматированию. Достаточно лишь иметь силовой генератор промышленной мощности. Мы действительно создали ад и рай на земле».

Сознание вообще оказывается мало привязано к физическому источнику — после аварии ли, тюремного заключения ли человек является после восстановления к близким в любом доступном или купленном обличии. Существуют специальные курсы для быстрой адаптации.

Но и отдаленное от физического и смертного, сознание людей реализует эти концепты в своей новой жизни. Так, у молодёжи популярен наркотик, который имитирует смерть: и тело, и сознание доводятся, приводятся на край, за которым уже совсем рядом небытие. Вышеописанные опыты с абсолютизированными болью и наслаждением также доказывают, что без фундаментальных основ, характеристик собственной жизни человечеству на новом этапе его развития скучновато и неудобно.

О чем свидетельствует все это? Очевидно сложно говорить как об ощущениях и чувствах грядущих относительно вечных поколений (у них, уже можно сказать, появятся подстроенные под новые задачи науки психология, философия и так далее), так и о более локальном — посылы этой книги. Можно, конечно, сказать, что «Видоизменённый углерод» предлагает пессимистическую картину развития трансгуманизма и вечной жизни²⁵. Но и, условно говоря, апеллирующей к консервативным ценностям ее отнюдь не назвать. Здесь нужно рассказать об еще одной линии книги. Католики (под ними, скорее всего, собраны все христианства, без конфессиональных различий) выступают против искусственного воскрешения, пишут нотариально заверенные завещания с отказом от них. Автор же не жалеет черной краски, чтобы представить этих самых католиков как мрачную, зашоренную, ретроградную, чуть ли не агрессивную секту²⁶. И таким образом в книге почти одинаково мрачно изображены оба фундаментальных подхода к смерти и бессмертию: как традиционный/религиозный, так и прогрессистский. Какой же выход и решение у человечества, с помощью технологий почти достигшего бессмертия, автор не указывает даже намеком. Возможно, конечно, эта рефлексия станет материалом для его будущих книг.

Завершая наш разговор, можно напомнить, что русский космизм и близкие ему идеи предлагают в конечном счете такой выход уже самим вектором своих призывов — развивать не только технологии и физическое²⁷, но и сознание²⁸, возносить его на более высокие уровни, реализовать максимум заложенных в человеке потенциалов, что в пределе приведет его к абсолютной реализации высшего, божественного плана, приблизит человека к совершенному, равному Богу статусу. Философия же, о которой мы говорили в этом обзоре и на материале книг, не относящихся напрямую к русскому космизму, дает нам механизм, модели, сам язык для помышления, рассуждения и, в потенциале, решения столь непростых вопросов. В пределе же «философия становится той сценой, на которой сражаются с одной стороны экономные и просчитанные силы

природы, а с другой — свобода, которая постоянно хочет сотворить нечто новое, нечто кардинально отличное от уже существующего. В философии, как и в трагедии, борются механизмы сохранения старого и революция»²⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Процесс садовой активности не только важен сам по себе, но и может быть экстраполирован. См. разбор из следующей книги нашего обзора, дочери философа Анастасии Гачевой: «Н.Ф.Фёдоров, наиболее полно раскрывший понятие регуляции, намечал и конкретные ее направления. Во внешнем мире это борьба со стихийными природными катаклизмами: ураганами, землетрясениями, наводнениями, цунами, засухами и эпидемиями, уносящими миллионы человеческих жизней, умение не просто предсказывать, но предотвращать эти бедствия; регуляция климата и атмосферы, превращение планеты в Сад, выход в космос для его освоения и преобразования, безграничное творчество в обновленной Вселенной. При этом мыслитель подчеркивал двунаправленность регуляции, ее обращенность и вовне, и на самого человека». *Гачева А.* Человек и история в зеркале русской философии и литературы. С. 37.

² *Чанцев А.* Энтузиаст, эмансипе и низвергатель // Дружба народов. 2022. № 3 (<https://magazines.gorky.media/druzhiba/2022/3/entuziast-emansipe-i-nizvergatel.html?>).

³ *Сувчинский П.* Инобытие русской религиозности. С. 479, 494 в сборнике «Евразийство», о котором мы поговорим далее на этих страницах.

⁴ Негативному толкованию подвергаются телевизор и некоторые реалии переходящей от социализма к капитализму нашей страны. Есть и антизападнические настроения-наблюдения: «...в Первой мировой войне вошла Россия в зацепление с Западом, что живет по Эдипову комплексу (Сын сильнее, убивает Отца и женится на матери: оттуда Революция, Прогресс, культ Молодого, Нового, Новостей, Моды и т.п.). И русский человек с ружьём, Народ-Сын, это воспринял — и, вернувшись, стал по Эдипову действовать: сверг-убил Царя-Батюшку и женился на Матери — Родине — России». Кстати, в связи с увеличением продолжительности жизни культ молодости в последние десятилетия на Западе и у нас заменяется культом старости, или, вернее, равенства всех возрастов — все старше стали модели на обложках, все больше звезд в весьма немолодом возрасте «пилят в инсте селфи» в купальниках и так далее. Но это опять же другая большая тема. Про эдипальные коннотации прогресса см. у Н.Фёдорова: «...подверг резкой критике идею прогресса за ее однонаправленность — устремленность в будущее при забвении и отрицании прошлого: “Прогресс состоит в сознании сынами своего превосходства над отцами и в сознании живущими своего превосходства над умершими”. Такой тип развития есть не что иное, как перенос на социальную жизнь закона вытеснения и смены поколений, который действует в “падшей” природе». (*Гачева А.* Человек и история в зеркале русской философии и литературы. С. 18.)

⁵ О недавнем издании работ Циолковского см.: *Чанцев А.* С верою в прогресс // Учительская газета. 2022. 25 января (<https://ug.ru/s-veroj-v-progress/>).

⁶ Можно было бы «продлить» сравнение до реализации идей Фёдорова и Циолковского в полусекретных программах климатического оружия (американский НААРП, российский многофункциональный радиоконкомплекс «Сура» и др.), но это было бы в корне неверно, потому что Фёдоров никак не мог быть ни за какое оружие, использующее еще и регуляцию климатом, напротив, призывал к обращению орудий разрушения в орудия спасения и армии —

в естествоиспытательную силу, поэтому обычно даже говорят, что МЧС и конверсия — это некая перекличка с его идеями.

⁷ В книге будет нелишним прочесть, что название «русский космизм» не является, конечно, самоназванием, а появилось уже в советское время, в «Философской энциклопедии» (1970), по одной из версий, на волне популяризации советского космического проекта.

⁸ Уже после завершения этого обзора вышла еще одна довольно представительная антология: Русский космизм: Н.Ф.Фёдоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский. — М.: Росспэн, 2022.

⁹ См. отклик на его выходящую в 2015 году в том же издательстве антологию «Русский космизм»: Чанцев А. Принцип всеединого музея // Новый мир. 2016. № 2.

¹⁰ И в целом киноопыт А.Видокле напоминает Космокинетический Кабинет Noordung — «абсолютно космический театр» Драгана Живадинова, в котором актеры перед показом тоже вроде бы умерли. См.: Лейдерман Ю. Космокинетический Кабинет Noordung // Moscow Art Magazine. 1995. № 8 (<http://moscowartmagazine.com/issue/65/article/1404>). Объединяет две художественные интенции и любовь к старым манифестам — Святогора в случае Видокле и Малевича в случае Живадинова, см.: «Кто-то ставит Шекспира, кто-то ставит Чехова, а я ставлю Малевича». Драган Живадинов о театре в невесомости и искусстве информанса // Коммерсант. 2020. 11 декабря (<https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4595330>).

¹¹ Ситуация с философскими журналами стала не так мрачна в последние годы. Можно, например, с чистой совестью рекомендовать журнал «Философия», издаваемый Высшей школой экономики (из уже вышедших особенно — номер памяти В.Бибихина). Все номера выкладываются на сайте: <https://philosophy.hse.ru/>.

¹² Не только посвященный космосу номер журнала «Знание-сила» (март 2022) выглядит, с обсуждением уничтожения одних астероидов с помощью других и т.п., (уже не) полной фантастикой, но и обсуждение ресурсов Луны заявлено как крайне важная тема: например, у КНР, являющегося крупнейшим экспортером необходимых в нынешней промышленности редкоземельных металлов, оные месторождения исчерпаются через примерно 15 лет, но тогда же, к 2035-му, есть четкие планы начать добычу на Луне. Идеи Фёдорова, заметим, получили другой знак: не «экспорт» цивилизации и людей на другие планеты, но, в лучших традициях колониальной эпохи и потребительского отношения к природе, «импорт» полезного оттуда. Для полноты возможного сравнения еще деталь: если Фёдоров планировал воскрешать мертвых из разброшенного по всей Вселенной праха, то основная и более или менее легко доступная часть полезных ресурсов на Луне находится в так называемом реголите — пылеобразном лунном грунте из пород «местного» и метеоритного происхождения.

¹³ О круге его интересов и впечатляющем списке изданного см.: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/medenicav.php.

¹⁴ Имя Фёдорова — наравне с именами не только Бердяева, но и Т.Горичевой — можно встретить и в книге Drawing Closer To God другого серба, психиатра и богослова Владеты Еротича.

¹⁵ Эхо не их подобию ли слышал Мандельштам, когда фиксировал — «Я слышу в Арктике машин советских стон»?

¹⁶ Тем более, что, как подчеркивает П.Бицилли, Европа вообще изначально многим обязана Востоку, от заимствованных иудаизмом из зороастризма концептов мессианизма и эсхатологизма до пришедшего из Персии же растительного и животного орнамента ранних миниатюр.

¹⁷ Из недавних и даже отчасти попавших в сферу внимания книг о евразийстве можно вспомнить исследование Чарльза Кловера «Чёрный ветер, белый снег». См.: Чанцев А. Агент Евразии по вызову // Rara Avis. 2017. 10 октября (http://rara-rara.ru/menu-texts/agent_evrazii_po_vyzovu).

¹⁸ Гачева А. Неизвестные страницы евразийства конца 1920—1930-х годов. К.А.Чхеидзе и его концепция «совершенной идеократии» // Вопросы философии. 2005. № 9.

¹⁹ Он же способствовал тогда изданию, изучению и популяризации евразийского наследия.

²⁰ Отвлекаясь, можно было бы порассуждать об исторической детерминированности подобного интереса к поколениям, эскапизму из настоящего: «Вопросы истории русской философии увлекали молодых философов, сотрудников Института философии АН СССР и философского факультета МИФЛИ. Л.А.Коган вспоминал: “В нашем тогдашнем умонастроении намечался некоторый поворот в сторону истории русской философии. Было бы неверно видеть в этом простой уход от современности, ее актуальных проблем в прошлое. Это было дистанцированием от тогдашней догматической конъюнктуры, идеологического диктата, причем, надо прямо сказать, скорее всего, на стихийно-подсознательном уровне”», — говорится в статье «Сто лет изучения истории русской философии в Институте философии» С.Корсакова и А.Черняева из рассмотренного выше издания «Русская философия».

²¹ О значимости для того поколения этой ретроспективы говорит и то, что ровно такой же мемуар — шла в Киноцентр, милиция развернула, куда вы, вас же убьют, так у меня билет! — присутствует в уже упоминавшемся сборнике воспоминаний «Мои девяностые» Л.Аркус. В пандан же к вопросу о политической ангажированности не лишним будет прочесть список ушедших затем в политехнологические области выпускников-философов в заметке А.Антоновского: Н.Тимакова, экс-пресс-секретарь Д.Медведева, А.Чеснаков, бывший идеолог «Единой России», Ю.Сапрыкин, журналист и «один из соорганизаторов протестов 2012 года», идеолог ДНР и Русской весны А.Бородай. Последний в заметке назван Юрием — контаминация с отцом, философом Юрием Бородаем. Понимая, разумеется, каких усилий потребовала публикационная подготовка такого объема материалов, обратим внимание на досадные опечатки — «Вениамин Ерофеев» (с. 640), «Антонет Арто» (с. 1155) или «перемещались с ДАСа» (с. 978) и так далее все же царапают слух в таком высоком издании, как пенопластом по стеклу.

²² При этом в книге присутствует свидетельство П.Гайденко, пятикурсницей писавшей дипломную работу о Хайдеггере (глава о поколении 60-х).

²³ Именно поэтому не книга, но сериал по ее мотивам становился и объектом философской рефлексии: Писарев А. Конфликт бессмертий: биополитика церебрального субъекта и религиозная жизнь в сериале «Видоизменённый углерод» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 3.

²⁴ Реализован в этом мире и тот экологический концепт, о котором упоминал Фёдоров и гораздо фундированнее писал Андреев — человечество в некий День Понимания обрело возможность общаться с животными. Жаль, что эта линия в романе никак не развивается, дана лишь впроброс среди множества деталей этого прекрасного и ужасного нового мира — сказано

лишь, что у людей стало модно общаться с китами. Видимо, в этом мире оказался прав не Витгенштейн, заявивший, что «если бы лев мог разговаривать, мы бы его не поняли», а Бротиган, в одном из стихотворений еще в 1967 году прозревавший «киберлуга, где люди, звери и компьютеры живут все вместе в запрограммированной гармонии» и люди, «свободные от трудов, воссоединятся с нашими меньшими братьями и сестрами, туда, где за всем следят машины благодати и любви».

²⁵ Интересно, что, хотя антисциентизм популярным в науке направлением сейчас никак не назовешь, появляются и такие книги. Так, в книге «Спасите человечество» (М.: Эксмо, 2022) Ху Цзянци предупреждает о грядущем уже в ближайшие столетия «кризисе вымирания» людей: «Человечество может исчезнуть от развития нанотехнологии, биоинженерии, искусственного интеллекта или других технологий будущего». Спасение китайский мыслитель видит как в довольно локальных (и весьма фантастических, в свою очередь) шагах вроде заветов «следует поощрять развитие предприятий, ориентированных на ручной труд, чтобы ограничить развитие высокотехнологичных предприятий. В частности, необходимо строго ограничить производство продуктов, разрабатываемых с использованием сложных технологий. В то же время необходимо ограничить образование в области естественных наук. Общий уровень должен быть снижен, а численность учащихся всех специальностей, занимающихся естественными науками в крупных колледжах и университетах, должна строго контролироваться». Так и в более капитальных подвигах: «продолжение развития науки и техники уничтожит человечество, и если мы не создадим великое единое общество как можно скорее и строго ограничим развитие технологий, то скоро выйдем навсегда». Объединяющая мир организация выглядит для него как «прокачанная» ООН. Не управлять, но направлять мир будет — опять же по аналогии с Советом безопасности ООН — «доминирующая группа» из четырех стран: США, РФ, КНР и Индия. К ним могут присоединиться еще пять стран на правах сменяющихся участников. Антинаучный и технологичный посыл выглядит, признаем, как некий литературный манифест между сочинением прекраснородушного идеалиста и современной, очень, кстати, продвинутой китайской фантастикой вроде Лю Цысиня.

²⁶ У очень образованного и толерантного автора две чуть ли не личные антипатии в этой книге — католицизм и курение — их он готов шпынять и подкалывать не раз.

²⁷ В еще одном фантастическом произведении — фильме «Титан» Л.Раффа (2018) — мы встречаем именно такую импликацию. Из-за исчерпания ресурсов Земли, перенаселения и войн (проблемы сформулированы скомканно в самом начале) человечество уже в середине нашего века оказалось перед необходимостью переселения на Титан. Решив менять не планетные условия под себя, а самого человека — прибегнув к так называемой «принудительной эволюции». В этом можно было бы отметить отказ от колониальной, потребительской логики по отношению к чужому миру, но по большому счету этого не происходит — символическая фраза сына главного героя «включи мне звезды» может означать, что такой способ переселения оказывается лишь более подходящим, потом колонизация Титана пойдет в обычном ключе, способствуя тому, что человечество в будущем освоит ресурсы еще многих «домов»-планет... Измененный с помощью инъекций, операций и внедрения ДНК существ с Титана, homo titanus становится в полной мере «чужим» (alien) — не только внешне, он утрачивает и навыки коммуникации (общается тактильно и на низких частотах), становится крайне жестоким. Unheimlichkeit он предстает дважды — опасным объектом и жертвенным субъектом (часть подопытных убивают в столкновениях). Конец фильма, когда единственный выживший в результате эксперимента все же отправлен в космос и вольготно чувствует себя на новой планете, можно списать на дань двум голливудским матрицам финала — happy end и unexpected twist (неожиданный поворот, в данном случае — с намеком на многозначность и возможность продолжения). Но, даже не противопоставляя идеям русского космизма, посыл фильма легко

прочесть в христианской парадигме как пагубную гордыню уподобления богу («мы стали как боги», звучит в фильме фраза ученых, как и термин «сверхчеловек»).

²⁸ Еще из современных аналогичных отчасти идей — предлагая термин новоцен для будущей, после нынешнего антропоцена, эпохи, ученый и теоретик Джеймс Лавлок предсказывает гармоничное объединение людей и киборгов. Если в целом его представления о цивилизации Геи можно прочесть в логике экологизма и киберфутуризма, отдельные постулаты у него могут быть интересны в контексте нашего разговора. 1) «Бит — это фундаментальная частица, из которой образована Вселенная», — пишет он в своей книге «Новацин: Грядущая эпоха сверхразума», повторяя по сути предположение Вернадского/Тейяра де Шардена о существовании ноосферы, 2) киборги/роботы будут помогать человечеству, они будут заниматься одним делом — сохранением планеты Земля — более того, человечество чему-то будет научиться у своих цифровых братьев. Но, при всем при этом, хоть Лавлок и пишет, что киборгам люди уже не будут нужны, кроме разве что контролирования на первоначальных этапах каких-то физических процессов, люди машинам понадобятся и в более фундаментальных вопросах, ведь «у них отсутствует некое качество — душа, эмпатия, что делает их неспособными преодолеть последний барьер, отделяющий их от человечества». (*Лавлок Дж. Новацин: Грядущая эпоха сверхразума* / Пер. с англ. А.Рудаковой. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. С. 108.)

²⁹ *Савицкий Е.* Критическая теория трагедии как протоавангардная школа революции // Новое литературное обозрение. 2022. 1 (173). С. 329.



Марат Садыков

ВЕЧЕР. ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель



Марат Садыков

МЕРЦАЮЩИЕ ТЕНИ.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель



Марат Садыков

РИТМЫ СТАРОГО ГОРОДА.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель



Марат Садыков

ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель



Владимир Савич

...ИДЯ ВДОЛЬ СТЕНЫ.
Полиптих, 4 часть. 2012.
Холст, комбинированная техника. 120х90



Владимир Савич

ВРЕМЯ НАСТОЙЧИВО НАСЛАИВАЕТ ДНИ. 2009.

Картон, комбинированная техника. 140x100



Владимир Савич

ПРИСУТСТВИЕ. 2009.
Холст, комбинированная техника.
66x58 (46x38 в свету)



Владимир Савич

БАРБАРА РАДЗИВИЛЛ. 2004.
Бумага, комбинированная техника. 54x42

Евгений Абдуллаев

Что делать?

Не думал, что буду об этом писать. Но ведь приходится.

Сто шестьдесят лет назад был начат один из самых сомнительных и самых известных романов в классической русской прозе.

Начат в декабре 1862-го, дописан в апреле 1863-го.

Не такой уж юбилей. И роман — если и не слабый, но явно уступающий тому, что появилось в том же 1862 году. «Записки из мёртвого дома». «Казачьи». «Отцы и дети».

Почему же — все-таки — роман Чернышевского? В котором слог, по едкому замечанию Набокова, «смахивает <...> на солдатскую сказку», и вообще много «прелестных безграмотностей»? Да и сам автор «Что делать?» признавал: «У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо».

Оттого что время подоспело. Оттого что современная «жизнь так настроена», как сказано в самом романе. Оттого что в нем есть, как минимум, две вещи, которых сегодня остро не хватает русской прозе.

При том что современная русская проза исключительно богата; по крайней мере — пока. Кажется, что в ней есть всё — и даже больше, чем всё.

Правда, на глазах за последние пару месяцев (пишу это в конце апреля) стало многое приостанавливаться. Сайт «Современная литература»¹. Премия «Национальный бестселлер». Премия имени Аркадия Драгомощенко... Институты мне не близкие, но будет жаль, если они исчезнут. Литература живет и дышит, пока она разнообразна.

Но речь сейчас не об институтах, а о тематике. В той новой реальности, в которой мы оказались, «зоны дефицита» в ней стали гораздо заметнее. Чтобы поговорить о них, я и взял в руки пыльный том Николая Гавриловича.

Дефицит первый — связанный с оптимистическим осмыслением будущего.

Пусть будущее с «чугунно-хрустальными» дворцами выглядит у Чернышевского слегка убого и пародийно. «Везде алюминий и алюминий...» Но сегодня для нас это важно: современной русской прозе нужно снова научиться говорить о будущем.

Литература последнего десятилетия была слишком заточена на прошлое, на историю². Ни один короткий список «Большой книги» или «Букера» (пока тот существовал) не обходился без романа, где основное действие происходило в прошлом. Особенно — в советском, становившимся все лучше и милее.

¹ Продолжает обновляться только раздел новостей, остальные разделы, по решению владельца сайта, с начала апреля «заморожены».

² Могу бросить камень и в свой — прозаический — огород, с «Поклонением волхвов».

Если же будущее — то, наоборот, все оттенки черного. Или антиутопия: «Теллурия» Сорокина, «Коронация зверя» Валерия Бочкова, «Саша, привет!» Данилова... Или постапокалипсис: «Остров Сахалин» Веркина, «Все, способные дышать дыхание» Горалик, «Бог с нами» Шипина... Третьего не дано. Будущего, пусть даже с этим чудесным «алюминием», но такого, в котором хотелось бы жить, влюбляться и рожать детей, создать не получилось.

Это не значит, что исторический жанр плох. Или антиутопия с постапокалиптикой подлежат списанию. Просто рядом с этим должно быть другое.

«Историческое чувство, когда оно властвует безудержно и доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей ту атмосферу, в которой они только и могут жить».

Я не любитель Ницше, но тут он, похоже, прав.

Безудержное опьянение историей, безудержная власть «исторического чувства» подрывают не только будущее. Они уничтожают и расплывают настоящее. Они подпитывают и вполне мирную ностальгию, и далеко не безобидный реваншизм... Да, «дефицит будущего», обращенность к истории (неважно, в виде консервации или ниспровержения) — это сейчас международный тренд. Но серьезная литература должна иногда идти против тренда.

Это будет сложно. Позитивный образ будущего — такая же трудная для писателя вещь, как и положительный персонаж. Но попробовать нужно; время подоспело.

Кстати, о положительном персонаже. Даже не положительном, а действующем, социально активном. И снова ставлю гиперссылку на «Что делать?».

«Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными, и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности».

Попытки отразить в прозе «нового человека», деятеля, а не просто зрителя театра социальных действий, в современной литературе были. Громкой заявкой был «Санька» Прилепина; вообще, герои ранней его прозы. Но отразить «нового человека» не получилось, даже просто героя, способного идти «поклонениям и толпам поперек». Прилепинский герой так и остался каким-то вечным подростком, с гремучей смесью анархизма и интимнейшего этатизма.

Возможно, не было самого запроса на «нового человека». Как не было внятного запроса на позитивный образ будущего. Главным героем русской прозы остается деполитизированный, социально пассивный обыватель. Он может даже противостоять каким-то отдельным чиновникам — как историк Иван Мальцов из «Крепости» Алешковского. Или просто складывать лапки и отдаваться на волю непостижимых карающих госорганов, как филолог Серёжа из уже упомянутого последнего романа Данилова. В обоих случаях — исчезнуть.

И протест, и покорность — это лишь две стороны одной и той же медали; к «новому человеку», с его «ровной и расчетливой деятельностью» это, похоже, отношения не имеет. Ни Кирсанов, ни Лопухов, ни Вера Павловна, ни даже Рахметов не манифестируют свой протест — они просто меняют сам модус социального существования. Протест — при всей его важности — это всегда действие в уже заданном пространстве, по заданным не тобой (а тем, против чего ты протестуешь) правилам игры. «Новые люди» Чернышевского создают новое пространство социального

существования — по крайней мере, *пытаются* его создавать... И пытаются, не без успеха, жить, действовать и любить в нем.

Эта попытка выйти из дихотомии бунта и покорности, возможно, и была самой ценной в романе. Поэтому — снова сошлюсь на Набокова — «...ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист». Чернышевский показал возможность — пусть иллюзорную — создавать социальную реальность завтрашнего дня и быть при этом спокойным и даже радостным.

И это важно сегодня, когда всё буквально взрывается от разрушительных эмоций, когда происходит стремительная поляризация и общества, и культуры.

«Спокойствие сейчас — это свидетельство или мертвой души, или мертвого разума, — пишет антрополог Роман Шамолин¹. — Быть спокойным сейчас — это признать: никакой ты не гражданин, а так, беспечный и случайный биоэлемент территории».

Это так, если под спокойствием понимать социальную пассивность и безразличие. В остальном — сейчас как раз требуется то спокойствие, которое мы видим у «новых людей» Чернышевского.

«...Они все живут спокойно. Живут ладно и дружно, и тихо и шумно, и весело и дельно». Именно этого неистеричного, *дельного* спокойствия сегодня не хватает.

Можно, конечно, возразить, что времена были другие. Либеральные реформы Александра Второго и прочая, и прочая.

Да, но лишь отчасти. Напомню, что когда писался роман, происходило подавление польского восстания, настроившее против России всю Европу (Соединённым Штатам было не до этого, в них самих шла Гражданская война). А где находился во время работы над романом его автор, напоминать, надеюсь, не требуется.

Так что стоит все же присмотреться к «новым людям». К их «вольной, просторной, деятельной жизни».

И попытаться продумать, придумать, если угодно — смоделировать — в современной прозе новых людей дня сегодняшнего. Повторюсь, это сложно; но тем интересней и, возможно, социально полезней.

Так что одним из ответов на вопрос «что делать?» может быть — да, попытаться написать новое «Что делать?»; неважно — роман, повесть или просто рассказ. С попыткой дать более-менее реалистичный и в то же время позитивный образ будущего. И тех людей, которые это будущее могут приблизить.

¹ «Новая газета», 2022, № 25.

Борис Минаев

Ходить в театр

Поход в театр сегодня — не очень простое мероприятие, когда почва уходит из-под ног и ты не знаешь, что будет завтра (не говоря уж про все остальное), он кажется излишним в твоём распорядке жизни.

Но я все-таки решился. Выбор пал на две премьеры, которые выпустили «старые мастера», люди, чья театральная юность пришлась на 60-е. Ну, так получилось просто.

«Новый Мокиноптт» в театре «Эрмитаж»

Михаил Левитин решил сделать ремейк спектакля, поставленного им, еще совсем юным режиссером-дипломником, пятьдесят лет назад на сцене любимовской Таганки. В том спектакле играли Смехов, Демидова, другие тогдашние звезды. Собственно, все они глядят на сцену — их огромные фотографии стали частью сценического пространства. Они — как боги, как «духи предков», а внизу — сегодняшние мы. Конечно, «Мокиноптт» тогда, на излете оттепели, и «Мокиноптт» сегодня, в начале новой эры — это две разные общественные ситуации. Два разных исторических контекста. Но мы подумаем об этом позже, говорю я себе, сначала посмотрим спектакль.

Пьеса Петера Вайса, немецкого драматурга, который считался у нас антифашистом и коммунистом (потом, после публикации пьесы «Троцкий в изгнании», считается сразу перестал), написанная в 60-е годы, — привлекла Любимова своей острой, открытой, а главное, глобальной интонацией. Маленький, совсем простой человек противостоит системе, и система давит его изо всех сил.

Мокиноптт — почти идиот, почти дурачок, и одновременно почти святой, который никак не может понять, в чем же его вина (а его приняли «не за того человека» и арестовали), он последовательно теряет все: деньги, работу, жену, здоровье и, наконец, жизнь.

Я смотрел «Мокиноптт» в конце 1980-х годов, когда уже опять стало можно ставить Вайса, в постановке народного театра «Бум» из Пензенской области (о его руководителе, великом театральном энтузиасте Саше Калашникове, я когда-то писал в «Дружбе народов»). Это была веселая яркая постановка, сценически решенная с помощью старых автомобильных камер: все свои злоключения Мокиноптт переживает,

как бы подпрыгивая на них и падая, подпрыгивая и снова падая, как в какую-то бесконечную яму. И яма все никак не кончается.

Посмотрев спектакль, я был уверен, что это Брехт.

Свойственная брехтовскому театру ясность, рациональность и безжалостность мышления — в «Мокинпотте» казались мне вполне узнаваемыми.

Брехт находился в совершенно понятной для меня системе координат: с одной стороны, старое буржуазное общество, с другой — новый «левый» мир. Мир будущего. Но у Вайса, писавшего уже в 1960-е, никакой «новый мир» (то есть мир коммунизма) совершенно не просматривается.

«Система», перемалывающая Мокинпотта, абсолютно глобальна, и самое главное — у нее нет исторического конца.

Маленький человек, попавший под жернова истории, будет страдать и дальше — всегда.

На наших глазах реплики Вайса, написанные уже 60 лет назад, обретают второй и третий смысл. И зал подхватывает эту игру, он жадно ловит отголоски собственных мыслей в старых текстах, радостно смеется, хотя стоит и поплакать: и о беспомощности интеллигенции, и об этом прибывающем нас к земле знании о неизбежности зла. О полицейском произволе и судебском обмане. О том, что в системе, где у государства всегда свои «великие цели», простому человеку нет места. «Люди только мешают» — рефрен старой песни Владимира Дашкевича становится глобальной темой.

Мы немного поспорили с моей коллегой после спектакля: хорошо ли играет актер Василий Корсунов, исполняющий роль Мокинпотта, верней, есть ли ему что играть? Ведь роль, в сущности, одномерная: Мокинпотт постоянно задает дурацкие вопросы, восклицает, что он ни в чем не виноват, горестно жалуется на жизнь, и все «на одной ноте». А мне показалось вдруг, на секунду, что Мокинпотт — это герой.

В этом упорстве, с которым он идет до конца, в отстаивании своих прав и свобод — есть все же какая-то важная надежда для нас всех.

Надежда именно на «человеческий материал», характер и волю — отдельного героя, уже вне зависимости от исторических обстоятельств.

Мокинпотт, который искренне не понимает, за что государство его наказывает, за что лишает его всего, что у него было (совсем немного и было, но отнимают все без остатка), Мокинпотт, который совсем не борец и не энтузиаст «гражданского общества», а просто человек, — наверное, это и была какая-то последняя надежда шестидесятников, которые уже во всем разуверились.

И в каком-то смысле — это последняя надежда и сегодняшней интеллигенции.

Обычный человек, лишенный интеллекта, разума, собственности, надежды — лишенный, в сущности, всего, но не лишенный природного ощущения справедливости, — он ведь где-то есть, он ходит среди нас.

Такой «Мокинпотт» оказался созвучен и нашему времени.

Яркий, праздничный спектакль: абсурд и ирония — это главные его материалы, и в то же время — чуточку наивная вера в человека, сегодня (как и полвека назад) принимаются на ура.

«*Душа моя Павел*» в РАМТе

Совсем другая история ждала меня в Российском молодежном театре — спектакль Алексея Бородина «*Душа моя Павел*», инсценировка по роману Алексея Варламова. Спектакль о студентах 80-х, о времени, когда еще «ничего не началось», но «все уже кончилось».

Это — совсем не «лабораторное исследование», не жесткий анализ социума, не глобальные выводы обо всем человечестве, как в театре «Эрмитаж». Это — любовный и пристрастный взгляд на прошлое, на свое поколение, по сути дела, попытка воскресить ту атмосферу и ту эпоху.

Студенты-филологи «на картошке», то есть в ситуации обязательной трудовой повинности — в колхозе, в дождливой сырости, в суровых условиях (душа нет, туалет деревенский, грязь и антисанитария), они убирают урожай корнеплодов с можайских полей, влюбляются, спорят, пьют водку и ищут, как бы это ни звучало банально, истину. Ответы на все вопросы бытия.

Конечно, я придирчиво смотрю из зала на эти «театральные мемуары» Варламова, ведь я и сам такой же студент, и так же хорошо помню эту «картошку». И главный мой вопрос: ну, а зачем мы это вспоминаем? Сегодня, сейчас?

Павел Непомилуев (актер Даниил Шперлинг) — главный герой спектакля — это, как ни странно, такой же Мокинпотт из конца брежневской, советской эры. Правда, есть существенное отличие: Мокинпотт — неудачник, а Непомилуев — «удачник», счастливчик, ему все время страшно везет: и на факультет он с практически провальными оценками поступает, и женщины ему благоволят, и весь «ковёр жизни» как бы стелется ему под ноги.

Но все же сходство, при всех важных отличиях, двух героев для нас важнее: оба предельно наивны, оба искренне не понимают реальность. Непомилуев — уроженец «закрытого» города, где, как мы помним, в магазинах «всё есть», где после праздничной демонстрации всем городом идут на стадион смотреть футбол, где все друг друга знают, где техническая интеллигенция (и вообще интеллигенция) живет с ощущением своей миссии, где всё, одним словом, хорошо и уютно.

На сцене висят кумачовые плакаты — построим, перевыполним — привычный фон начала 80-х.

Но это — фасад. За фасадом начинаются вопросы. Их задают однокурсники — они вначале принимают героя за комсомольского карьериста, потом за стукача, и Паше Непомилуеву приходится проходить кучу инициаций и вызовов, чтобы доказать обратное: и драться, и впервые пить водку, и ругаться, и спорить, и влюбляться, а главное — учиться.

Учиться всему новому, что должен знать студент московского университета (звание, которым он очень гордится). А студент московского университета должен знать не только «официальную», но и «неофициальную» правду о времени — о косной тягостности советской жизни, о Сталине и лагерях, о циничной повадке любого начальства, об афганской войне, о невозможности говорить открыто и спрашивать взрослых в лоб.

Но Паша спрашивает — и ему отвечают.

В спектакле очень много песен того времени, на сцене сидит аж целый оркестр, очень много движения, очень много молодой страсти — и вот возникает вопрос, а куда же делись все эти ужасно симпатичные молодые люди, которые тогда, еще при

Брежнев, так хорошо все понимали, так жарко спорили, которые были такими честными и такими искренними?

Что с ними стало потом, в перестройку? Что в 90-е? Что сейчас?

Конечно, мы этого не знаем (хотя догадываемся) — но нам безумно интересно, ну, по крайней мере, так кажется по реакции зала, очень живой и непосредственной: что же было у них, этих студентов, тогда, в самом начале, что было стартовой точкой, какие вещи их волновали?

И помимо вечных тем любой молодости — дружба и предательство, любовь и ненависть, — сама по себе возникает, конечно, и тема компромисса.

Компромисса с устройством общества и «социальными практиками», компромисса с социальными привычками, которые устоялись за десятилетия и проявляются вновь и вновь, компромисса с тяжким грузом прошлого.

Для нас важно то, что они, эти студенты 80-х, хотя *бы думают* об этих проблемах, мучаются этими компромиссами, яростно спорят о них и в какой-то момент даже попадают в историю, восстают, и пусть смешно и нелепо, но бунтуют — из-за того, что трудовая повинность растянулась на месяцы, и учиться им не дают, а они ведь первокурсники.

Если даже тогда, при всех парткомах и стукачах, эти студенческие волнения, даже в зачаточном виде, были возможны, если такие споры для этих ребят были остро актуальны, значит, компромисс не будет вечен?

Значит, Паша Непомилуев все же узнает что-то такое, важное, чего не может не знать «студент московского университета», а в сущности — любой человек?

Мне хочется именно с этой мыслью уйти со спектакля, а не только с горьким сожалением, может быть, исторически и оправданным, что «все провалилось» и «все зря».

Я оглядываюсь и вижу похожие эмоции на лицах зрителей, ведь это спектакль, в сущности, не о тогдашней, а о нынешней молодежи, об их искренности, их вере в «поступки», так получается.

Ну а ностальгия по советской эпохе — ее, в общем, тут и нет.

Есть что-то совсем другое.

Summary

Prose

Igor MOISEEV. The Island of Glazovka, or The Chief Of the Storks

“What is happiness? The more complicated question is probably only the question of the purpose of life. And it is a particularly important question for the islanders – not from philosophical but from the very practical point of view”. “Islanders” are the residents of a Belorussian village where in the 80s of the last century the tide of life has brought in the newly minted English teacher. Here, like Robinson Crusoe, the overwhelmed city dweller is trying to appreciate the local way of life and the basics of survival on the island.

Poetry

Growing into the reader’s experience the poet Ilya FALIKOV warns: there is no life without the favorite books. Books are the main thing at home. Gennadij KATSOV lists his genius teachers: Homer, Flaubert and Karamzin. Vadim MESYATZ remembering the mystical details of Gogol’s death states that “all the writers of the land of Russia were buried alive” and wants himself to be remembered only alive and only for what he can be loved. For Olga IVANOVA it is important to fix – even if with inner vision – how “the boat of life is sliding from this withering vale among the banks of bliss and anguish”.

In their traditional correspondence on the pages of “DN” the prosaist Gennadij PRASHKEVICH and physicist Alexej BUROV are meditating on “toxic information, Big Bang and the following beginnings”, on the Bible and Plato, on the “sacred grounds” of the West, on the “mass person” and the future of our civilization.

Anna VOROPAEVA. Love in the Celestial Empire

“No self-respecting woman would even glance at a guy without steady paycheck or a divorced man. It’s believed: if the man proved to be unable to support the family once it is mostly probable that he’ll do it again”. Sinologist by education and occupation Anna Voropaeva who lived in China for many years has already shared with our readers her observations over the life of an ordinary Chinese village and the students’ life in China. Here she describes what Love looks like in this country.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Александр Васькин. «Второй съезд — кто кого съест». Совписовские съезды глазами их участников

«Первый съезд союза писателей, послуживший образцом для всех прочих творческих организаций, открылся 17 августа 1934 года в Доме Союзов. В съезде приняло участие 376 делегатов с решающим правом голоса и 215 с совещательным. Участников съезда задарили цветами и подарками, кормили в «Метрополе», бесплатно водили на Козловского и Лемешева в Большой театр, возили по Москве на такси. В большей степени это поражало провинциалов, а вот Вениамин Каверин обратил внимание на другое — у входа в Дом Союзов и внутри у каждой двери стояли чекисты в форме, проверяли документы: «Их было слишком много, и кто-то из руководителей, очевидно, догадался, что малиновый околыш как-то не вяжется с писательским съездом. На другой день билеты проверяли серьезные мужчины в плохо сидящих штатских костюмах». Очень символичное соседство, которое уже скоро самым печальным образом скажется на самих же писателях. За двадцать лет много воды утекло — из почти шестисот участников первого съезда было репрессировано более двухсот человек, т.е. одна треть. Немало писателей полегло на фронтах войны. В итоге из всех делегатов Первого съезда во Втором участвовало 123 человека...»

